

Хелена Побяржина

Валсарб

Редактор *Наталья Нарциссова*

Издатель *П. Подкосов*

Главный редактор *Т. Соловьёва*

Руководитель проекта *М. Ведюшкина*

Арт-директор *Ю. Буга*

Корректоры *О. Смирнова, Ю. Сысоева*

Компьютерная верстка *А. Ларионов*

Иллюстрация на обложке *Getty Images*

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Х. Побяржина, 2023

© ООО «Альпина нон-фикшн», 2023

ХЕЛЕНА ПОБЯРЖИНА

ВАЛСАРБ

роман

альпина

ПРОЗА

Издательство
«Альпина нон-фикшн»
Москва, 2023

Существует достаточно света для тех,

кто хочет видеть,

и достаточно мрака для тех, кто не хочет.

А мы носились по лужайкам,

когда решались судьбы истории.

Мы не слышали выстрелов.

Вместо истории была гимнастика.

А мы носились по лужайкам,

когда шили нам сапоги.

Короткие ватники

держали нас крепко за спину.

Вначале было Небо, и Небо было у Бога, и Небо было Бог.

Бог склонился надо мной, и все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и продолжение жизни, и мое начало. Он был жизнь, и я уверовала в него. Звали его Пан Бог Дед, и он не был свет, и он не был послан, дабы светить и озарять, или свидетельствовать о свете, или проповедовать истины, или отпускать грехи, но был послан сотворить меня по своему образу и подобию.

И создал Пан Бог Дед мир под небом своим в честь моего рождения и землю со всем сущим, и город с огромной горой на земле, и дом в городе с огромной горой. Потом создал Он светило великое рядом с собой, я зажмурилась от тепла его и удовольствия, и увидел Он, что это хорошо.

И создал Пан Бог Дед на тверди небесной звезды, чтобы озарить ими тьму. И рассеялась тьма над моей колыбелью, и увидел Он, что это хорошо.

Медленно и неторопливо чередовались дни и ночи расплывчатыми картинками, стирая грань между явью и сном. На восьмой день Пан Бог Дед отнес меня ксендзу, чтобы омыть от первородного греха, подарить вход в Царство Божье и дать имя.

А потом вернулся домой и сообщил нашим родственникам:

– Всё. Теперь я ее усыновлю.

Складываю домик из красного кирпича. Старый польский домик из старого красного кирпича. Чердачное окошко высоко, там, где солнце. Сто тысяч миллионов ступенек до входной двери. На самом деле, наверное, десять, наверное, пятнадцать. Но когда тебе пять, их сто тысяч миллионов, и спорить с этим бессмысленно. Вдоль ступенек – топинамбур и рудбекия. Такие высокие, что заканчиваются аккуратно на уровне входной двери, к которой ведут сто тысяч миллионов ступенек. Клубни топинамбура Баба пыталась готовить в печке, а рудбекия растет просто для красоты. Она из всех сил тянется вверх желтыми, взлохмаченными головками, но не может удержать себя на высоте собственного роста и еще до конца августа рухнет, согнувшись в три погибели, прямо на дорогу. Дорога эта и не дорога вовсе, а довольно крутая горка, ведущая с проезжей части вниз к нашему саду. По этой горке, минуя дом из красного кирпича, то и дело снуют люди с ведрами, вверх-вниз, вверх-вниз, вниз – пустое ведро, вверх – полное

ведро. Вдоль дома тоже регулярно ходят люди. Все потому, что рядом с нашим садом находится колонка. Неизменно синяя колонка с порыжелыми и серебристыми лишаями напоказ, линияющая клочьями краски. Единственная колонка на всю округу.

Сил приложить нужно немало для того, чтобы она прыснула со смеху и расхохоталась. Псссс! – старается сдержаться колонка всякий раз, когда на нее нажимают, точно дамочка преклонного возраста, которой рассказали сальную шутку, пытающаяся сохранить лицо и вести себя пристойно, – ссссс-аххх-ха-ха!!! – вода ударяется о жесть ведра, льется ровным потоком вниз, любопытные брызги бросаются сломя голову через край, остаются коричневыми слезами на песке.

Забавы ради воду проливать никто не станет. В доме из красного кирпича живет Дед, которого все уважают и боятся. Не потому, что это какой-то очень страшный дед, это обычный дед, только как будто всегда чем-то недовольный и угрюмый. А уважение и страх – слова-синонимы, когда имеешь дело с человеком, на чьей территории кому-то взбрело в голову установить колонку для всей округи.

В саду стоит хатка. Маленькая бледно-салатовая времянка. Она выглядит немного беспомощной в окружении шумных яблонь, немного сонной, оттого что в ней нет окон. Ее глаза закрыты сожалением и скорбью по чему-то давно минувшему. В стеклышке двери отражается хлопчатобумажная сетчатая занавеска, за дверью всякий раз обнаруживается уйма занимательных вещей. «Времянка называется хаткой, потому что раньше заменяла нам дом, была нашей маленькой хатой», – поясняет Баба. У меня не хватает воображения. Не может семейным домом служить лачуга, в которой не развернуться. Сейчас, действительно, сюда можно втиснуть довольно много ненужной мебели и всяких любопытных предметов, которые мама называет *хлам*, но жить вчетвером тут, пожалуй, неудобно. Две продавленные софы смотрят друг на дружку, соревнуясь в количестве пятен на обивке, и для прохода остается ровно три моих шага. Это в ширину. А длина времянки не составит и половины моей детской. Как бы то ни было, хатка весьма успешно притворяется, что у нее интересная жизнь. Это царство испорченных будильников, допотопных телевизоров с навсегда севшими кинескопами, мутных стаканов и пыльных керосиновых ламп, ваз с потертой позолотой и одиноких тарелок из разбитых сервизов. В самых неожиданных местах можно наткнуться на капустниц, потерявших пыльцу и уснувших навеки под целлофановыми крыльями. Из бесчисленных ящиков и коробок изливается море чужих воспоминаний, извергается лавина невысказанных эмоций. Каждый предмет здесь имеет историю, каждый из взрослых помнит ее немного по-своему. Невозможно выбросить стул с отломанной ножкой, ибо на этом стуле сидел еще твой папа, когда был таким же маленьким, как ты сейчас, может, мы его еще починим,отремонтируем, да, этот уют тоже пригодится, это еще моей мамочки Казимиры уют, не поднимай, не поднимай, надорвешься.

На столике лежат тетради, старательно исписанные чернилами, их фиолетовые глянцевые ручки утекли в страну Нетинебудет, впали там в реку, которая пересохла. У папы-школьника очень красивый почерк, когда-нибудь и у меня такой будет. На титульном листе потрепанного учебника с недостающими страницами написано папино имя, у меня уже ритуал – листать этот учебник, когда мы заходим в хатку. Несказанная радость: разглядывать страницы и мечтать о своем имени на форзаце.

В хатке нет понятия пространства и времени. Она ведет себя, точно старый душеприказчик в поисках наследника. По крайней мере, со мной. Я то и дело норовлю утянуть что-нибудь из ее нутра, тем самым помогая разрешить судьбу вещей. А судьба у них яркая, даже самая незначительная безделушка выглядит как подлинное сокровище, пережив еще до моего рождения столько событий и переездов, что мне и не снилось. Хатка битком набита какими-то сложными деталями от автобусов и грузовиков, которые чинит Дед на своей работе, ветошью

и выцветшими ситцевыми отрезами, старыми фланелевыми халатами и проеденными молью платками, хозяйственным мылом про запас, письмами и открытками: «Дорогой Сестричке и Эдику с наилучшими пожеланиями на Вельканоц!», километрами ваты в сеточках и отслужившими чугунами горшками «на всякий случай». Больше всего для таких случаев подходит герань или бальзамин: Баба высаживает в посуду живые цветы, и получаются неповторимые цветочные горшки, бывшие горшками для еды, но в прошлой жизни. Этому Бабу научила мама – прабабка Казимира, а прабабку Казимиру ее мама – прапрабабка Францишка. Во все времена есть отжившая свое посуда и цветы. И иной раз дырявый горшок и герань приносят пользу. Если не кому-то, то, по крайней мере, друг другу.

В хатке пахнет пылью и квашеными огурцами. Кислым огуречным запахом пропитаны даже елочные игрушки из ваты и папье-маше. Огурцами постоянно забита необъятная кадка с булыжником сверху. Булыжник называется *гнет*, я видела, как Дед подобрал его. Откуда берутся огурцы – неизвестно. Во всяком случае, в саду их не выращивают, в саду полагается расти цветам и плодово-ягодным кустарникам. А огород есть только за Тридевять земель, в местечке Заборные Гумна. Там жил Бабин отец, тощий, как жердь, старик, немножко похожий на Кощея Бессмертного, но однажды он все-таки умер, и теперь там осталась его жена, но не Бабина мама, не прабабка Казимира, а какая-то Сабина. Все это очень странно, наверное, огурцы для кадки в хатке выращивает эта Бабина «немама», потому что больше некому.

Время от времени мы путешествуем на громогласном мотоцикле туда – не знаю куда, в поисках того – не знаю чего. Иногда ездим за Тридевять земель. Это всегда приключение во главе с Дедом в зеленом шлеме, озирающим окрестности полководцем, беспристрастно и беспрестанно направляющим тархтящий мотор прямиком в стаю соседских кур. Каждый раз я поначалу соглашаюсь безропотно и смиренно сносить любые неудобства ради увлекательной и веселой поездки, пока не обнаруживается упущенный памятью нюанс: сидеть в коляске мотоцикла придется у Бабы на коленях – и никак иначе. Баба большая, пышная, как ватрушка с творогом, жарко дышит мне в затылок и вечно пытается закрыть обзор, так надо, потому что дует, но мне же не видно, смотри, какой сильный ветер, а мне не видно ничего, тебя просквозит, да мне же не видно, не видно же ничего, снимисменяэто. То, что закрывает обзор, называется нелепым словом *брезент*, оно не позволяет нормально дышать, особенно летом, не говоря уже о возможности глядеть на проносящиеся мимо магазины, загорелых людей, лающих собак, греющихся на солнце котов и разноцветные дома в окружении пестрых садов и покосившихся заборов. Ветер сходит с ума, свистит в ушах и треплет волосы, но такие мелочи не помеха для того, кто желает мнить себя принцессой, объезжающей в карете свои владения. Воображаемые подданные снимают передо мной воображаемые шляпы, на проселочной дороге мою карету аутентично трясет, как всякую повозку, управляемую лошадьми. К моменту прибытия за Тридевять земель лошади моего величества успевают так наскакаться по ухабам, что я лишаюсь сил и возможности разрешить вопрос с огурцами и немамой Сабинкой. Пока огурцы откуда-то берут и куда-то складывают, чтобы привезти домой и утопить в кадшке под булыжником, я чаще всего сплю, укрытая брезентом. К Сабине приглядеться я тоже не успеваю, в редкие моменты пробуждения, при любой погоде, она растекается красным пятном одной и той же трикотажной кофты, оттого мне кажется, что Сабина – самое красное слово на свете. Просыпаюсь я от треска мотоциклетного мотора, когда мы отправляемся в обратный путь: слева мелькают огромные поля и огороды Заборных Гумен, справа – разделяющий экватор – тридевятьземельный лес, назад ехать не так весело и не так интересно, чтобы приободриться, я начинаю петь, но тут же задыхаюсь, снимисменяэто, не видно же ничего, да мне же не видно, тебя просквозит, а мне не видно ничего, смотри, какой сильный ветер, но мне же не видно, так надо, потому что дует.

Если спуститься с высокого крыльца и подняться на горку, окажешься на улице Великой. Теперь она называется иначе, ничего великого и примечательного на ней нет, должно быть, поэтому передумали и переименовали, там, где я живу, дома большие, многоэтажные, и то улица называется просто и понятно – Садовая, а здесь дома старые, жильцы чаще всего тоже, вот и передумали. Так или иначе, здесь куда интереснее, чем на Садовой с ее серыми глыбами блочных домов на одно лицо, домов, немного на вырост, еще не вписавшихся в географию города. Они скромно подмигивают своими желтыми глазами и стыдливо заливаются краской по вечерам, будучи застигнуты за просмотром многосерийных закатов над озером.

На Великой вокруг домов огороды и цветы, в низких окошках висят занавески на ниточках, все друг друга знают и здороваются издали, как в деревне. Я гордо шагаю за руку с Бабой по этой улице Великой, очень узкой улице без тротуара, мимо дома тети Вали, мимо дома Алески, у которой во дворе песочница, мимо дома старого Рысика, с которым дед играет в карты, мимо хлебного магазина справа, мимо магазина «Сувениры» слева, мимо длинной конторы хлебозавода. Все это занимает десять минут, и мы приходим в костел. Летом я бываю здесь чаще, потому что чаще гощу у папиных родителей. Баба ходит сюда как на работу, то есть каждый день. К тому же костел и Бабина работа тесно связаны друг с другом: Баба работает на хлебозаводе, а от него до костела рукой подать.

В костеле мне нравится. Пожалуй, это самое красивое место из всех, что я видела, а возможно, и самое красивое на свете. Костел похож на замок, хоть я и не была в настоящих замках, но, думаю, так они и выглядят: шпили высокие, окна полукруглые, двери тяжелые. Центральная парадная дверь открыта только по праздникам, боковая, в которую следует заходить в будни, не поддается моим детским рукам. Я емь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, только это нелегко, как с ручкой колонки, – без боя не войти в эту крепость и не напиться из живительного источника. Но Баба уверенно распахивает ее, мы ныряем внутрь, точно в темницу, становится и страшно, и смешно, потому что ничего не видно. В нос ударяет запах старого лака и мира. Делаешь несколько неверных шагов, входя в притвор, становишься вслед за Бабой на колени: нех бэндзе похвалёны Йезус Хрыстус, угол напротив озаряет лик огромной иконы Божьей Матери – ослепительно-золотой, невыносимо прекрасной, тени вокруг оживают, светлеют, дух захватывает от высоты потолков и цветных стеклышек в окнах, от органной музыки и пения на непонятном языке девушки на хорах, но Баба уже тянет за собой к лавкам, на свое заслуженное место, которое не куплено, конечно, что за глупости, детка, просто все знают, что я здесь сижу, потому что я всегда здесь сижу, много лет, меня здесь все знают, и Пан Бог тоже знает, и меня знает, и что я здесь сижу, и что ты – моя внучка, он все знает и все видит вообще.

Он стоит на крыльце и смачно курит папиросу, первый сорт, двадцать две копейки пачка. Свой табак, конечно, не сравнится, не так горчит, лучше пахнет, но где его взять в июне, до июня своей махоркой не разживешься, все, что он посадил недавно в садике, зазеленеет ближе к осени, а закончится еще до нового года. Даже с учетом сушки и ферментации. Он тушит папиросу о дно консервной банки, которая на крыльце служит пепельницей. Вспоминает, что не купил новую пачку, надо собраться и сходить в ларек у остановки, в голове шумит от выпитого, пару стопок на работе махнул с мужиками, всего пару стопок, даже запаха нет, но Галя учуяла, сказала, что одна с девчонкой в костел ходит. Он и сам знает, что нечего к Пану Богу пьяным являться, ему досадно, что именно сегодня подвернулся этот Алик со своим вином, сегодня будет красивая служба в честь Непорочного Сердца Панны Марии. Она сохраняла все слова Сына в сердце Своем. А Сын безраздельно принадлежал Отцу. Это верно. Так и должно быть.

Мимо него с горки опрометью скатываются двое ребят, у одного ссадина на локте, у другого разбито колено. Резко притормаживая, Ссадина хватается за молодой, упругий стебель у крыльца и с усилием тянет его вверх.

– Подумаешь, картошка, да это редька какая-то, – отзывается Разбитое Колено, наклоняясь за неизвестным клубнем.

– Верни на место! – раскатистым басом велит Пан Бог с небес.

Ребята на мгновение замирают, и Разбитое Колено швыряет находку обратно на землю.

Крыльцо красного дома нетерпеливо поскрипывает у них над головами. Высокий помост Олимпа с миллионом ступенек вниз, на грешную землю. Мальчишки убегают, не оглядываясь. Нутром чувствуют, что этот Пан Бог, этот угрюмый дед из красного дома, не очень-то церемонится с простыми смертными. Дед спускается и подбирает клубни топинамбура, нелепых желтых цветов, которые выращивает Галина. Цветы многолетние, неказистые, но надо отдать должное – отлично украшают крыльцо в конце лета, если успеть их подвязать. Если сейчас пойти в ларек за папиросами, можно заодно и Галю с девчонкой на углу подождать.

Мать Божья Валсарбская до того, как, собственно, стать Валсарбской, была самой обыкновенной Мадонной, жила в деревянном монастыре на острове, и ей там нравилось. Время от времени ее выносили из монастыря к людям, и она являла им чудеса, пока стар и млад у противоположного берега воздавали ей хвалу. Паломники шли к ее обители толпами, прося рыбы и хлеба, потомства и здоровья. Она освящала всякие воды и давала надежду людям с Большой земли. Но нечестивыми оказались монахи, живущие на острове. Не пожелали они делить пожертвования с нищими, и те проклинали их. Ударила в монастырь молния, вспыхнул он и сгорел дотла. Ничто не уцелело, кроме чудотворной иконы. Образ Мадонны в золоченом одеянии засиял на соседнем островке. Она решила обрести там новую обитель.

В это время в Валсарбе Ксендз Игнаций строил костел, чтобы Пан Бог не оставил город милостью своей. Долго не думая, прихожане попросили Ксендза перенести святой образ с острова в Валсарб. Ксендз добросовестно совещался с Господом, рассуждал, хорошо ли это будет, правильно ли он поступит, если заберет икону, но Пан Бог задумчиво молчал. Ему нужны были гарантии. Среди верующих Валсарба оставалось немало тех, кто ленился превозмогать грехи и страсти свои, стало быть, устраивать приют святыне здесь было попросту опасно. Однако Ксендз счел молчание знаком согласия, и образ перенесли. Сутки напролет ревностные католики Валсарба воздавали хвалу Пану Богу и Благословенной между невест, а на другой день с удивлением обнаружили, что Мать Божья исчезла. Она вернулась на остров.

Ксендз обратился к Богу с вопросом, что он делает не так. Бог ответил: «На островах Мадонну почитали без малого триста лет, ей нелегко покинуть те места, дай ей время».

Вот только люди были нетерпеливы. Они жаждали без промедления завладеть персональной Богоматерью, гневались на спокойствие Ксендза и уповали на Божью милость. Снова и снова прихожане Валсарба шли крестным ходом, заносили образ в костел, но ни одна из попыток не увенчалась успехом: Мать Божья была глуха к их литаниям и не желала разговаривать с ними. Упорно возвращаясь на остров, она будто давала понять, что иначе и быть не может.

Ксендз больше не просил помощи у Бога, не роптал и не сетовал, решив смириться с тем, что не избрал его Господь, подобно Веселеилу, не исполнил его Духом Своим, лишь напоследок поинтересовался, неужто он и приход его провинились настолько, что остаться святыне здесь непозволительно, неужто он затеял небогоугодное дело? И сказал Бог: «Помогу тебе милостью своей, и снизойдет моя благодать, когда икону с острова со всеми почестями перенесут истинно раскаявшиеся воры».

И послушал Его Ксендз, и стало так. И увидела Матерь Божья силу доброй воли, и взялась опекать землю, окруженную озерами, и покровительствовать городу Валсарбу.

Тише. Она спит. Не спит. Спит, спит. Надо было другое одеяло ей дать, ты холодное ей дала. Жарко, не выдумывай. Когда спишь, не жарко. Накрой моим тогда. Не буду сейчас, разбужу еще, как все прошло? Похоронили нашего Чеслава – вечный покой даруй ему, Пανε, – как мы теперь без него, такой ксендз хороший. Говорят, он накануне еще несколько пар обвенчал, а вот как бывает. Раз – и нет человека, она поела? Поела, не переживай. Молодой же еще был, а? Лет на пять тебя старше. Совсем не возраст. Не возраст. Завтра хорошо протопить надо, стало холодать по ночам, я даже замерзла, пока ждала, а могилу будут бабы сторожить, чтоб не выкопали. Из исполкома поступают угрозы, непорядок, говорят... Вот курвы!.. Тише, Эдик! – непорядок, говорят, не положено хоронить не в местах, специально отведенных под захоронения... Я говорю, курвы, после смерти человеку покоя не дают! Такой человек великий, столько добра сделал, малую нашу окрестил. А где похоронили?.. А здесь, справа, если со стороны входа смотреть, сразу за костелом, там, где и ксендз Мечислав лежит, лучше места и не придумаешь. Он всегда будет дома теперь, и на небе, и на земле, рядом с костелом. Памятники им, дай Бог, со временем установят, когда все уляжется. Так жалко его, до сих пор поверить не могу... Надо бы сходить, посмотреть. Все хотят посмотреть, Эдик, но лучше не надо пока. Пока не прознали. Ой, мать, как будто кто-то не знает! А бабы говорили, он в тюрьме сидел, Чеслав наш. Так это всем известно, его же выпустили тогда почти сразу, после ультиматума, иначе в колхозах уборку не закончили бы. Збышек говорил, побоялись они, в нашем Белом доме, народного гнева, мол, проблем не оберешься. Не тогда, в молодости сидел, и долго, говорят, несколько лет. За что это еще? Якобы за дезертирство, что-то у него там со службой... Дезертир – это плохо. Да, но бабы точно не знают... Тсс!.. Да спит она, спит... Бабы точно не знают, может, он, вообще, за веру сидел, как мы теперь будем без него? А от чего умер, известно? Сердце. Инфаркт, наверное. Раз – и нет человека. С другой стороны, быстро, не мучился. М-да, хорошо, когда быстро. Святым людям – легкая смерть. Прими, Пανε, молитвы наши за душу слуги твоего Чеслава Вильчинского, ксендза Валсарбского.

Валсарб – это город-кладбище. Здесь чувствуешь мертвых под ногами. Ксендза здесь хоронят прямо возле костела, католиков на одном кладбище, евреев на другом, а одного доктора похоронили прямо на Замковой горе. На Замковой горе действительно были замок и крепость, только немного игрушечные, потому что деревянные. До чего же они были ленивые и недальновидные, эти князья, строившие замок из дерева. Все знают, что дерево недолговечно. Если его не поточит жучок-короед, то оно обязательно сгорит. Не уцелевшие княжеские хоромы на просторах горы до сих пор маячат призраком. По крайней мере, я их там вижу, не знаю, как другие.

Доктор Нарбут, который похоронен на горе, жил позже, поэтому памятник ему сохранился. Это высокий обелиск с фонарем наверху. Фонарь служит маяком для рыбаков, ведь Замковую гору окружают озера. Доктор Нарбут жил во времена прапрабабки Францишки и лечил прабабку Казимиру. Он запрягал повозку и мчался спасать людей, даже когда вместо ноги у него уже был протез. Прапрабабка Францишка угощала его квашеными огурцами и несла горшки с бальзаминами в благодарность за спасение своих детей. Соседи сходились со всех окрестных дворов к тому дому, куда приезжал доктор Нарбут, – за советом. Он никому не отказывал в помощи, поэтому его похоронили, как ангела, над головами, на высоте четырнадцать метров, чтобы он продолжал спасать всех, кого невозможно спасти.

Раньше на Замковой горе были хоромы, а сейчас только деревья. Их посадили лет тридцать назад, так Дед говорит, а до этого было пусто и голо. А может, и не было.

Я умею считать до тридцати, но мне не нравится считать. Читать мне нравится больше, и я уже знаю, как буквы складываются в слова, меня Баба научила по псалтырю. Жаль только, что я не понимаю этих слов, лишь некоторые. Как и пения девушки на хорах. Потому что это польские слова и написаны не такими буквами, как «ларек», «хлеб» и «сувениры». Я не умею читать «ларек», «хлеб» и «сувениры», я просто откуда-то знаю, что на магазинах по дороге в костел написаны эти слова. Я умею читать слова в Бабином молитвеннике, но не понимаю, что они означают.

В центре города есть Кладбище-с-Солдатами и Просто Кладбище. Они находятся друг напротив друга, через дорогу. Просто Кладбище похоже на круглую игольную подушечку: возвышенность, утыканная крестами-иглами сверху донизу. На Кладбище-с-Солдатами нет памятников, нет крестов, только холмики. Эти солдаты погибли давно, когда прабабка Казимира только родилась. Могилы все безымянные, поросшие мхом и вьюнком. Солдаты смотрят через дорогу на просто людей с Просто Кладбища и немного им завидуют. Просто люди помнят, как их зовут, со временем окружаются семьями, им приносят цветы и свечи. Солдатам раз в год приносят один венок на всех, а осенью они собирают на своих могилах гербарии.

На первом повороте от кладбищ стоит низенький беленький домик. Это ясли. Мама отвозила меня туда в коляске перед тем, как ехать на работу, но я этого не помню, хотя мама говорит, что в яслях мне нравилось. За яслями находятся валсарбские почта-телеграф-телефон в очень красивом старом доме из красного кирпича, где раньше была гостиница. Слева площадь. На площади стоит серебристый памятник главному революционеру: лысый дяденька, засунув руки в карманы пальто, устало наблюдает за городским движением. За спиной у него недавно посадили елочки, и теперь они украшают площадь вместе с памятником. Там же стоит большое белое здание – исполком. В нем работают люди, но я не знаю точно, чем они занимаются. Мужчины туда заходят исключительно в костюмах и при галстуках, а женщины – с огромными башнями из волос на голове. Таких людей показывают по телевизору в новостях, и они совсем не похожи на моих родителей. Мой папа не носит костюмы, ходит, не застегивая ворот рубашки и с пятнами машинного масла на брюках. А у мамы красивые русые волосы, которые она перед сном специально завивает на бигуди. В мае и ноябре вокруг памятника революционеру собираются люди со всех предприятий города и хором уверяют его в том, что он всегда живой. В костеле тоже поют, только по-польски, о вечно живом Сыне Божьем, и там тоже собирается довольно много народа. Я иногда задумываюсь, кто из них важнее: Святой Сын или серебристый революционер. С одной стороны, наверное, святой. С другой стороны, его никто не видел, а тут живой человек. То есть уже не живой, но и не мертвый. Не ясно до конца, так ли уж они бессмертны на самом деле. Если хорошенько поискать дуб, на котором висит сундук, можно отыскать яйцо, а в нем – чью угодно смерть на конце иглы. На площадь я хожу с мамой, в костел с Бабой, и спросить, кто из этих двоих главнее, не решаюсь. Что-то мне подсказывает, что этот вопрос моим близким не понравится. Для себя я решила, что если у Бога действительно был сын, он нравится мне больше главного революционера.

Еще мне нравится ряд польских домиков, сбегаящий вниз от площади. Они называются Домики Клоса. Не знаю почему. У них каменные фундаменты и широкие ставни. Крыши сверху нахлобучены, будто шляпы. Иногда я воображаю, что живу в каком-нибудь из этих домиков, а не в скучном блочном доме с балконом. Старые постройки и вещи, по-моему, намного симпатичнее новых. Люди, которые здесь родились, должно быть, очень счастливы. Тут тебе рядом и площадь, и ресторан, где все празднуют свадьбы, и самое большое озеро в городе, и еще целых два кладбища: еврейское и братская могила с солдатами, погибшими на войне, про которую мы в детском саду учим грустные стихи. На еврейских памятниках выбиты непонятные значки. Язык евреев совсем не похож ни на польский, ни на русский. И буквы тоже. Получается, они очень умные, если разбирают эти значки.

Мемориал с солдатами окружен сквером. Здесь имена на братской могиле

написаны по-русски. Это кладбище часто снится мне по ночам. Вот откуда я знаю, что мертвых там больше, чем указано на табличках. Не хватает имени как минимум одного парня. Мемориал всегда минуешь по дороге на автостанцию. Иногда, проходя мимо, я машу этому парню рукой, пока мама не видит. Впрочем, всегда можно сделать вид, что машешь вороне, сидящей на сосне. Сосен здесь много, а ворон над братской могилой больше, чем семечек в подсолнухе.

Что там, за окном, не видно, есть только красивые, переливающиеся узоры на стекле. Их рисует Мороз Иванович своим посохом, получаются перышки, листики, розочки, завиточки – и они никогда не повторяются. Мороз Иванович ездил в одно село на маминой родине, оно называется Гжель, там он брал уроки рисования у местных мастериц. Они расписывают белую посуду голубыми красками, а Мороз Иванович – прозрачные предметы серебром. Мастерицы работают круглый год, а Мороз Иванович – только зимой. В остальное время он спит в своей берлоге.

Красные санки мне купили давно, тогда я еще почти не разговаривала, но мама катает меня только в садик и иногда в магазин. Сегодня выходной, и папина очередь катать.

Я смогу спокойно убрать квартиру, говорит мама, пока вы покатаетесь. Убираться лучше, когда никто не путается под ногами.

Пойдем и найдем самую большую горку, говорит папа и улыбается.

Я молчу и не улыбаюсь. Мне известно, что если на окнах столько узоров и они не тают, даже когда на них долго дышишь, значит, на дворе очень холодно. Я не люблю, когда холодно. Я люблю сидеть в теплой квартире на диване и листать свои книжки. Папа так редко бывает дома, лучше бы он мне читал. Больше всего мне нравится сказка про Сивку-Бурку. И сам конь с пылающей гривой нравится, и то, как его нужно звать, выйдя в чисто поле: «Сивка-Бурка, вещи и кабурка! Встань передо мной, как лис перед травой!» Конь такого же огненного цвета, как шерстка у лис. Он волшебный и исполняет желания. Я желаю остаться дома, но меня уже рядят в сто одежек – все без застежек: сверху шуба, на голову шерстяной платок, на руки кусачие варежки.

На улице градусов сто или тысяча холода, как я и думала.

Мороз и солнце, день чудесный, говорит папа. Солнце – белое и ровное блюдце, от него больно глазам, и я смотрю на сугробы, такие блестящие, как мамины голубые тени для век в прозрачной коробочке.

Сугробы большие, но нет подходящей горки, говорит папа, устраивая меня на сиденье. Папины слова клубятся, вылетают изо рта, будто пар из кастрюли.

У меня мгновенно леденеет нос, в щеки неприятно впиваются невидимые колючки. Улица похожа на большую морозильную камеру. Даже через мою шубку и все одежки пробирает холод. Наверное, папа тоже чувствует его. Но он улыбается и говорит: я знаю. Я знаю, куда мы поедem. Поедем на стадион, там самая высокая и безопасная горка.

До стадиона недалеко, только лучше бы я шла пешком. Санки подпрыгивают на каждой снежной кочке и каждом ухабе. Внутри у меня тоже что-то подпрыгивает.

Озеро встало, говорит папа. Подрастешь, купим тебе коньки.

Эти высокие тапочки с лезвиями носят люди в любимой маминой передаче «Чемпионат мира». Они умеют быстро бегать, вертеться волчком и даже прыгать в этих своих коньках. Иногда они падают. Я знаю, что лед – это скользко и больно. Я не умею вертеться волчком и не хочу коньки.

На стадионе пусто и белым-бело.

Наверное, все остальные катаются на какой-то другой горке, говорит папа. Не думаю. Скорее всего, все остались дома.

Закрыв глаза, я лечу вниз, не держу равновесие, санки круто сворачивают и заваливаются набок. Пока папа спускается, я догадываюсь, что нужно подняться, но у меня не получается. Маша говорила, что я вешу пуд. Даша говорила, что шубка и бурочки весят пуд. Поэтому я – Ванька-Встанька.

Папа стремительно поднимает меня, улыбается, отряхивая шубку: понравилось, а? Скажи, здорово? Давай еще?

Я смотрю на вершину, с которой только что спустилась. Черные карандаши деревьев вдаль красиво сверкают белыми прическами, украшенными блестящей мишурой.

Любишь кататься – люби и саночки возить, говорит папа.

Он тянет санки за длинный шнур бельевой веревки, я держусь за нее, как прищепка. Под ногами хрустит. Сверху пугающе кричит галка. Солнце-лампа настолько яркое, что слезятся глаза. Мне хочется сказать: идем домой. Мне хочется сказать: холодно. Но папа такой веселый. Он лихо поднимается в гору, почти вприпрыжку, я не могу омрачить его радости, я буду счастлива его счастьем. Буду снова и снова тихо-мирно съезжать вниз, заваливаться набок на спуске, прилагать неваляшкины усилия, чтобы подняться, до тех пор, пока папа не скажет: пойдем домой? Пока шутливо не защелкает зубами: холодно.

У Даши белые волосы и серые глаза. Она вылитая Падчерица из фильма «Двенадцать месяцев». Подбородок у нее кверху, любопытный мышинный носик, будто постоянно принюхивается к чему-то.

Волосы она не красит, они такими белыми сами растут. Но мне нравятся такие волосы, как у Маши. Они настолько черные, что даже немного синие. Глаза у Маши, как вишни, темные, нос картошкой, на лбу угольные завитки. Маша очень симпатичная, мне вообще нравятся женщины с темными волосами. Только Маша не женщина, а нянечка. И Даша тоже. Они абсолютно разные, хотя одного возраста. Маше и Даше по восемнадцать, они – нянечки и девушки. Это мама мне сказала. Мама – женщина, потому что у нее есть я и папа, а Маша и Даша – девушки, потому что детей у них пока нет. Точнее, у них полно детей. В одной нашей группе пятнадцать человек.

Даша – очень серьезная и всегда чем-то занята. Если она не подтягивает чьи-нибудь спущенные трусы, то обязательно завязывает кому-то бант или шнурок. Маша – веселая и любит поболтать. Чаще всего она болтает со мной, а я не против. Мне нравится стоять, прислонившись спиной к печке, водить руками по скользкому бледно-розовому кафелю и слушать Машины взрослые истории, пока она заправляет пятнадцать кроватей после тихого часа. Она хотела поступить в институт, но провалила экзамен. Поэтому пока она нянечка, а потом будет историком. Жить уедет в большой город, а сюда будет приезжать только на раскопки. С Машей интереснее, чем играть в песочнице. Она столько всего знает! К примеру, она знает, что в нашем детском саду раньше жил хранитель города, и, по-моему, это очень странно – занимать такой большой дом, даже если у тебя есть жена и дети. Но Машина бабушка была с ним знакома, и, по ее словам, это совсем не удивительно, раньше все было иначе. Именно бабушка надоумила Машу быть историком, но пока ее истории слушаю только я.

Помимо воспитательницы, Маши и Даши, у нас есть дядя, который топит печь. Он приходит всегда во время тихого часа с охапкой поленьев и следами сажи на щеках. Этот дядя – военный и, наверное, помогает детскому саду на общественных началах, ведь топить печь нелегко. Он аккуратно укладывает

в нее поленья, скрипит чугунной дверцей с круглой ручкой и уходит, удовлетворенно потирая руки и бормоча себе под нос одни и те же слова.

В комнате очень светло, даже если зажмуриться, темнее не становится, перед глазами пролетают то вверх, то вправо зеленые и черные блестящие круги, будто металлические пузыри, Ваня тоже не спит, даже не пытается притворяться, лежит и разглядывает свои ладошки, точно на них нарисовано что-то интересное, натюрморт или карта сокровищ, а Миша спит, он всегда спит, даже храпит иногда и пускает слюни, повезло ему, никогда не мешает свет. Наверное, те листочки на дереве, которые я видела вчера, еще немного подросли, а мама сказала, что это куст, а не дерево, а чем они отличаются, тем, что дерево намного выше, но они все высокие, это просто потому, что ты маленькая, вот подрастешь и поймешь разницу, и пойду в школу, обязательно пойдешь, да, в форменном платье из «Детского мира», да, сандалии будут белые, да, куплю.

Почему это листочки у деревьев сначала такие бледные, потом такие зеленые, а осенью такие разноцветные, надо бы сорвать один, принести домой, посмотреть, как он меняет цвет.

На уголке наволочки чернеет штамп, большой и безобразный, для чего штамповать белое белье черным, если это так уж необходимо, стоило бы придумать невидимый штамп. Еще штамп бывает на шкурах магазинного мяса и у мамы на работе. Странно, что столько вещей нуждается в штампах.

Когда Миша ворочается, то даже кровать скрипит, что, если он грохнется как-нибудь на меня и придавит своим верхним ярусом?

Ваня ковыряет в носу и думает, что его никто не видит.

– Паразиты, – это Маша вслух сказала за стенкой, здесь отличная слышимость. Сказала и заплакала. За окном радостно завторила ей какая-то птичка.

Паразиты – это скверно, это такие черви, которые заводятся внутри человека и могут есть за него всю еду, а человек только болеет и худеет. Паразиты и сволочи. Сволочь – это бранное слово, наверное, даже неприличное. Кто-то обидел Машу, кто-то молчал до седьмого мая, прошло уже десять дней, а эти преступники только сейчас открыли правду, но можно ли им теперь верить, если нужно было пить йод сразу и напоить всех детей, а они, паразиты и сволочи, молчали.

Интересно, как это – пить йод? Он же жжется и мажется. Станет ли от него коричневым язык? А зубы? Может, оттого, что некоторые люди пьют йод, у них такие некрасивые коричневые зубы и бывают? Всю баночку нужно выпить или только чуть-чуть? Нужно обязательно уточнить. А если бы я отказалась его пить, что тогда?

– Небо было багровое, красное небо и свечение вокруг, – Маша говорит.

Получается, она ходила в кинотеатр на фантастический фильм про красное небо? Неужели ей нравятся такие фильмы, удивительно.

– А как же Первомай, – Даша говорит, – все же радовались, ходили и дышали этой дрянью, подумать страшно, а у меня там бабушка, и что теперь будет, с ума сойти просто, что теперь будет.

Только причитают и ругают кого-то. А Миша, когда сегодня заплакал, так смешно сморщил нос, и остался бы Петухом, подумаешь, если бы мне предложили быть Курицей, я бы не расстроилась, мне все равно, но у меня глазки, как у котика, так Маша сказала, я уже и слова почти выучила, тетя, тетя кошка, выгляни в окошко, есть хотят котята, ты живешь богато, теперь Миша будет сто лет учить эти слова, ему нужно было маленькую роль дать, лучше бы Петухом был, и не похож он

на котенка вовсе, говорят, что все они умерли, все, кто были вот-прямо-там... – Даша шепчет что-то дальше скороговоркой, изба у нас без крыши, а пол прогрызли мыши, а ветер дует в щели, а хлеб давно мы съели...

– ...опасно пить воду в областях, которые...

Маша не издает больше не звука.

Ваня, кажется, спит.

Скоро можно будет ходить без рейтуз. А может, даже без колготок. Может, даже послезавтра. Пойдем на площадь, и динамик будет петь: здравствуй, мама, возвратились мы не все. Очень красивый месяц начался, голубой и белый. Три дня забывали перевернуть страницу, воспитательница сказала. Перевернули, а там такая красота. Голубое небо и белые цветы. Это цветы яблони, месяц называется МАЙ'86. Почему у нас дома нет такого календаря, я бы на него любовалась.

На золотом крыльце сидели, что-то там пили, кое-что ели, это у бабы Хани сегодня день рождения, все чокались с ней, звеня рюмками, говорили, что она бабка-ягодка опять, а когда засобирались домой, мама предложила моей тете, папиной кузине, зайти к нам на чай, посмотреть новую неполированную стенку-секцию. Политура – дешево блестит. Просто дерево – благороднее. Я уже оценила. Написала красной ручкой на нижней тумбе: Мама. Мама не оценила. Надпись стирала долго, терла каким-то растворителем, а меня поставила в угол – подумать над своей ошибкой. Какой именно, не уточнила. Наверное, «т» пишется все-таки как-то иначе.

В углу мне не нравится. Там всегда сидит мальчик – кудрявый и недовольный. Непонятно, откуда он там взялся и что делает в нашей квартире.

– У меня есть «Красный мак», – искушает мама тетю. Это такие конфеты с хрустинкой внутри.

Папа курит в сторонке с братом. Никто не торопится. Значит, я могу обогнать их, опередить, прибежать домой первой, вот они удивятся!

В наступающих сумерках все предметы уже, углы резче, тени реже, желток солнца прячется за здание редакции, я перебегаю дорогу, когда на ней нет машин, не забывая посмотреть по сторонам, я молодец.

Наверное, они еще только вышли из калитки, а я уже вприпрыжку преодолела половину пути до дома, ведь мы живем совсем рядом. Раньше в Валсарбе был только честный сектор – маленькие деревянные дома. Получается, в высотных домах живут уже не только честные люди, но и всякие обманщики.

Я тороплюсь, хотя им не догнать меня, тороплюсь, потому что мне немножко холодно, совсем чуть-чуть, мама говорит: всегда холодает, когда в садах зацветает вишня, я почти бегу, осталось обогнуть дом, свернуть направо, добежать до подъезда.

В подъезде темно. Конец света. Важно преодолеть пять первых высоких ступенек, лучше приставным шагом, потом легче. Глухо бренчат металлические почтовые ящики на стене справа, когда я опираюсь на них рукой.

Глаза привыкают, из окон на лестничные пролеты струится мягкий свет, с бьющимся сердцем я добираюсь до двери своей квартиры. Я – чемпион. Только не учла, что теперь придется ждать, пока все проделают тот же путь, а можно было неторопливо входить в этот чернильный вечер в ногу со всеми, висеть на маминой руке и слушать непонятные взрослые разговоры.

Вокруг тишина. Из чужих квартир не доносится ни звука. Даже бормотания

радиоточки не слышно, даже шепота льющейся воды из крана.

Что-то не очень-то они торопятся.

Внутри появляется тревожный звоночек, он тренькает: а что, если. Ачтоесли я не так поняла, и они остались. Ачтоесли они идут не к нам, а к тете. Ачтоесли сейчас совсем стемнеет, а они не вернутся.

Я неуверенно начинаю спускаться по ступенькам. Внизу хлопает тяжелая дверь подъезда. Наверх стремительно и бесшумно летит ночная бабочка упреков. Хватает за плечи, трясет, вопрошает: а что, если бы.

Ачтоеслибы ты потерялась. Ачтоеслибы мы не догадались, где ты.

Ачтоеслибы ты попала под машину.

Потом плачет и прижимает меня к себе.

Он не знает, как выразить свои чувства. Он хотел бы забрать ее себе, по возможности – насовсем, и спрятать, защитив от мира и от ее бестолковых родителей.

– Я ее усыновлю, – бросил он однажды, когда малышка была еще краснощеким, беззубым головастиком в свертке. Они все посмеялись.

Больше всех смеялась Галина. Уже сейчас у девчонки ее глаза. Такие, как тридцать лет назад, когда они поженились. Иногда серые, иногда голубые. Глаза-незабудки. И улыбается она так же, как невеста Галина на мониidle. Днем он устраивает малышке тихий час на своей вытертой красной софе и наблюдает за тем, как она спит. Потом его подушка пахнет конфетами – детским шампунем «Кря-кря». Галина спит отдельно, на железной кровати, на многослойном пирожном из пестрых матрацев, с тех пор как заболела и перенесла череду операций. К тому же они оба слишком большие, слишком грузные для общей постели. Ничего, он привык к софе. А там, глядишь, они купят элегантную двуспальную кровать.

Девчонка спит, а он думает, чем ее порадовать.

Отпуск у него в июле уже не первый год. Малышку отдадут на Великую не дольше чем на неделю, потом у невестки начинается свой, и ее забирают.

Забирают, будто отбирают, отрывают. Всякий раз такое чувство. Ничего, девочка подрастет и сама выберет, где лучше. Ничего. Они предполагают, а Пан Бог располагает. Если бы он сам не был Паном Богом, он бы еще посомневался, а так...

Черный веер ресниц тенью ложится на персиковые щечки, пуговица носа морщится, маленькие пальчики подрагивают во сне. Еле слышное дыхание из подковки губ вызывает в его груди священный трепет. Он глядит на нее и не может налюбоваться. Огромный Иисус в черной строгой раме глядит на них сверху и не может налюбоваться.

Своей коричневой рукой он берется за анютины глазки, рассыпанные по шторе, и осторожным пцък! задерживает ее, чтобы сделалось темнее. Пусть ничто не тревожит малышку: выгнать этих любознательных солнечных зайчиков, погасить, распать. Полыхать разрешается только святейшему сердцу, тщательно прорисованному на груди у Иисуса. Он мельком оглядывается на образ, мелко крестится, бесшумно направляется к двери и немедленно совершает грех сквернословия, в тот самый момент, когда воздух разрезает медная канонада артобстрела, какофония ведер, полифония воды и бабских криков.

В два прыжка он преодолевает комнату и оказывается в сенях. Поспешно выскочив

на крыльцо, с трудом умирят сотрясающий воздух, рвущийся в бой кулак.

– Чего ревете? Чего гремите?

– Здравствуй, Эдик! А что случилось?

– Малую мне разбудите, вот что! Не гремите мне тут!

– Да что ты, Эдик, детский сон самый крепкий, их из пушки не разбудить. Вот мои, помню...

– Сама ты... пушка! Трепло! – Он не в силах сдержать свой гнев и от ярости готов взорваться, если эта баба немедленно не замолчит.

Соседский подросток пронесется мимо на велосипеде, бессознательно втягивая голову в плечи, точно шелудивый пес.

– Да ты что, спятил, что ли! – Женщина многозначительно повышает голос, словно призывая в свидетели свою собеседницу. – Я уже и воды набрать не могу? Мне уже и слова сказать не дозволено? Ты мне еще, может, на улицу запретишь выходить?

– Дура! – сквозь зубы цедит он и с остервенением сплевывает прямо на крыльцо.

– Люди! Гляньте! Что это такое? Кем ты себя возомнил, а?

На крик этой вздорной бабы торопится ее такой же склочный муж: руки в боки, ноги колесом. В гнезде под стрехой неодобрительно стрекочет стриж. Хромой солнечный зайчик выводит на стене: мене, мене, теке, упарсин. Взвешены, измерены и признаны недостойными все эти люди, абсолютно все.

Негодую, он распахивает входную дверь и исчезает в ее пасти, в своем убежище, в гроте со своей Спящей красавицей, оставляя улице визгливое сопрано соседки. Если бы это было в его власти, он усыпил бы все это королевство со всеми глупыми бабами, велосипедистами-молокососами, звенящими ведрами, бездонной колонкой, автомобильными гудками, чирикающими воробьями, скрипящими половицами, усыпил, обездвигил и заглушил, чтобы его капелька видела сладкие, бессобытийные сны.

Будь он богат, он построил бы для нее дворец, замок, крепость, цитадель. Но у него нет ни сокровищ, ни слов, ни покоя. Его переполняют чувства, и он не знает, как их выразить.

Я – Казимира, дочь Францишки и Яна, внучка Магдалены и Марцина, который был лесничим. Родилась во время Первой войны в Российской империи, детство провела при советской власти, замуж вышла в Польше, умерла в Белоруссии, при этом никогда не покидала своей деревни. Густаты она называется.

Во мне сто шестьдесят сантиметров роста, я небольшая и круглолицая, а Янка мой высокий и худой, красивый мой Янка, повезло мне с ним. И хозяйство на нем, и огороды – никакой работы не боялся. Привозил мне с ярмарки голубые платки в цвет глаз и спиртного в рот не брал, а то известно, как это бывает в деревне, у нас почти все мужики пили с ноября по май. А мой Янка пост соблюдал, еду крестил и за стол не присел ни разу, не перекрестившись, садик справил, домик сладил, там мы с ним и прожили, четырех детей родили. Янка очень хотел сына, но Бог дал нам мальчика только после Второй войны, а тяжкие времена на то и тяжкие. Бог дал – Бог взял. Халинка и Ханна выжили, а сын нет.

Это никогда не проходит, этим нужно просто переболеть. Звучит, может, и странно, но оно так. А когда совсем невмочь, есть успокоительная трава чабрец, надо собрать ее и заварить чай. У нас он целыми полянами растет, в каждой хате найдется. Хорошо еще добавить ромашки и зверобоя, тогда богаче вкус. Или пойти

и печь хлеб. От всех мыслей отвлекает, только и думаешь о том, чтобы тесто не съехало да хорошенько пропеклось. Или взяться вязать носки для всех на зиму, если повезло и есть пряжа. Пока вяжешь, очень удобно молиться, получается вязанный ружанец для Панны Марии.

После я еще Геновефу родила. Девочки всегда сильнее.

Я – мать трех дочерей и всегда буду матерью сына. Как мой Янка всегда будет отцом сына.

Мальчик родился хилый, но я запретила себе плакать.

Нельзя плакать по детям, ибо они дружат с ангелами, зальешь ты их райский уголок водой, не будет им покоя.

Мои невыплаканные слезы летали черными мухами перед глазами. Поначалу, когда я керосинку долго разжечь не могла или когда пыталась вдеть нитку в иголку. Однажды утром проснулась, а у меня одна из мух прямо на глазу сидит. И не смахнуть ее, точно приклеенная. Я позвала Янку, а он говорит: пропал твой голубенький глазок, Казя.

Поехала я в большой город, в больницу, где много докторов и каждый свое лечит, такой специальный доктор вставил мне искусственный глазок. Ничего не показывал этот глазок, да другого мне не предложили.

Я – твоя прабабка Казимира, мать твоей бабки Халинки, дома моего больше нет, и меня тоже уже нет. Когда ты долго не разглядываешь черно-белые фотокарточки, я прихожу в твои цветные сны. Не думаю, что могу объяснить, зачем мне это. Может, для того, чтобы ты знала, что когда мои глаза видели, они были голубые. Такие же, как твои.

На ковре много разноцветных ромбиков, в ромбиках прячется олень с большими рогами и зайчик с маленьким хвостиком, елочка и дьяволенок с рожками.

Я не вижу, ты все выдумала, говорит Баба, ну и фантазия у тебя, отец, глянь, да какой там олень! Дед, по своему обыкновению, смеется.

Но они никуда не исчезают, эти фигуры, не меняют формы, существуют на ковре, как первобытная наскальная живопись, а ковер – первое, что я вижу после пробуждения. Память и привычка – одно и то же, оттого не имеет значения – утром или днем, я сначала ищу всех обитателей ковра и только потом поднимаюсь с постели и шлепаю в зал. В зале стоит трельяж, стоит так, что, выходя из спальни, я отражаюсь сразу в трех зеркалах, иногда я сдвигаю створки, получается лабиринт, где одновременно находятся несколько девочек с красной щекой, заспанным глазом и вышедшими из повиновения вихрами на затылке. На голове у меня беспорядок почти все то время, что я гошу в доме из красного кирпича, я – лахудра, так сказала бы мама, но мамы нет, Бабы нет, я сажусь на стул, и Дед распутывает мои редкие, тонкие волосы расческой-ежиком с металлическими шариками на конце каждой иголки. Случается, что в захватанном зеркале отражается и вполне опрятная девочка.

А потом мы идем за кирпичиком. Каждый день, в одно и то же время, я точно знаю, хоть пока и плохо понимаю в часах, мы идем мимо дома тети Вали, мимо дома Алеськи, у которой во дворе песочница, мимо дома старого Рысика, с которым Дед играет в карты, в хлебный магазин. Каждый день мы покупаем самый мягкий на свете хлеб, который делают на Бабиной работе. Рыжий кирпичик с одним очень черным, глянцевым боком, блестящим, как начищенный ваксой ботинок. Выбрав на деревянном поддоне самый ровный, самый пропеченный, Дед молча и торжественно протягивает мне одну копейку и выходит из магазина, размахивая капроновой сеткой с кирпичиком, в то время как я уношу с собой обязательную продолговатую картонную коробочку с яблочным повидлом, прикрытым сверху

белой шелестящей бумажкой. Ничто не доставляет мне такого несказанного удовольствия, как эта копеечная радость. Только сам Дед. Каждый день, проведенный с ним, делает меня обладательницей белой коробочки с ярко-красным яблоком.

Баба приходит с работы почти всегда в самый разгар чаепития. Я снова сижу на Дедовом любимом стуле, на котором сидеть никому нельзя, а мне можно, и трепетно держу чайную ложечку со сверкающими, как темный янтарь в ее ожерелье, остатками повидла.

– Она и сегодня съела целую коробку, – недовольно ворчит Баба. – У нее будет болеть живот. Сначала нужно было поесть кокеры!

Кокера – тонкий картофельный пирог с луком и маленькими шкварками, который Баба готовит в печке, когда не нужно поститься и ее посещает вдохновение или я. Наверное, лучше кокеры блюда нет. Но ведь и вкуснее повидла тоже ничего нет, хоть мы с Дедом и путаем очередность еды.

Живот никогда не болит. Я смеюсь: неправда, неправда, зажимая рот рукой, смех без причины – признак дурачины. Дед заговорщически отвечает мне хитрым прищуром с тысячью лучиков вокруг глаз. Баба укоризненно смотрит на нас, качает головой и идет разогревать кокору.

Огонь синий, красивый, васильковый, лиловый, иногда оранжевый. На огне кастрюля-гигант, занимает большую часть плиты. В кастрюле варится белье. Мама говорит: кипятится.

Валик из первого подъезда говорит Люсе со второго этажа:

– Ну чо ты так кипятишься!

Он облил ей сарафан велосипедом. То есть водой из лужи, брызнувшей из-под велосипеда. Вода коричневая. Сарафан желтый. Люся рыжая – красиво кипятится. А ее маме придется кипятить Люсино платье.

Больше во дворе ничего замечательного не происходит, или это я не умею замечать. Скучно. Погода еще хмурится, и я возвращаюсь с балкона на кухню, с содроганием, как можно скорее, проходя через неуютную, темную детскую. В кухне жарко пахнет мыльным паром и немного горьким индийским чаем. За кухонным столом сидит тетя Алла, ждет, пока чай заварится. Я люблю наблюдать, как нутро пузатого фарфорового чайника медленно темнеет, как песчинки заварки расправляются и кружатся в неспешном вальсе: раз-два-три, раз-два-три, но при гостях неприлично заглядывать в чайник, раз-два-три, ты будешь чай, тогда посиди спокойно.

Скучно.

Мама вертится на кухне, от плиты к столу, раз-два-три, грациозная и красивая, все у нее ловко получается – и утрамбовать огромными деревянными щипцами выглядывающее из кастрюли белоснежное белье, и, выключив хризантему газа, подхватить горячий чайник и изящно налить кипятка в чашку. Она терпеть не может гостей, если затеяла стирку. А сегодня к тому же грандиозная стирка, с кипячением. Но, во-первых, мама дико гостеприимна и всех встречает чаем, а, во-вторых, тетя Алла – гость особенный, поскольку может достать то, что другие не могут, стало быть, лучше не упускать возможности, ведь достать она может не всегда, а предлагает сама исключительно редко. У нее и без нас полно желающих.

Пар рисует над чашкой замысловатые фигуры, тетя Алла позвякивает в ней ложечкой, сетует на старшего сына, пришепетывая и свистя. У нее толстая верхняя губа и плохие зубы, а Вовка совсем от рук отбился, подрался с мальчиком

из приличной семьи, и теперь непонятно, как лучше его наказать: не пускать на улицу или.

Из кухонного окна видна непроходимая пуща грядок и чей-то будущий чахоточный урожай: тонкая желтая ботва моркови в зарослях сорняков. Вовка приносит домой столько непотребных словечек, что тетя Алла не верит своим ушам и диву дается. По грядкам прыгает грязно-оранжевый, некрасивый кот, прыгает, как заяц, хотя я не видела, как прыгает заяц, наверное, за полевкой, не за кузнечиком же, хорошо, что третий этаж, ничего не разглядеть, я боюсь мышей и быстро отхожу от окна, а Вовка тем временем уже научился считать почти до ста.

Мама резко качает головой, вешает полотенце, которым прежде подхватывала кипящий чайник, ей неинтересно про Вовку, она хочет поскорее покончить со стиркой, тетя Алла говорит маме: болоньевый костюм, очень качественный, мама говорит мне: если не будешь чай, поди поиграй.

У соседки из второго подъезда живет болоньевая собака, серо-белая, с длинной шерстью. А болоньевых костюмов я еще не видела. Тетя Алла шелестит чем-то темно-синим в холщовой сумке, хороший цвет, говорит она, немаркий. Я шелещу фантиком от карамельки, мама шелестит оберточной бумагой, подгоняемая любопытством, предлагает пойти в детскую: в шкафу есть зеркало, а ты займись чем-нибудь, гляди, как хорошо стало на улице, пожалуй, я его уже выключу, вдруг поплывет, ведь я только недавно вымыла плитку, после докипачу, нет, это ткань такая, болоньевая, а не собака, не хочешь печенье? а чаю? Поди поиграй.

Высовываюсь с балкона на улицу: ничего хорошего, во дворе никого и сыро. Небо выпцветшим шерстяным одеялом укрывает пустую детскую площадку. Мой бледно-серый двойник отражается в стекле, я встречаюсь с ним / с ней взглядом. У нас водяные глаза, они сливаются с пыльными глазами окон дома напротив, идут золотыми трещинами от света, брызнувшего в детской, мама шуршит новым костюмом, а это так должно быть, а я думаю, велик, нет, это не мой фасон, куда в таком.

Тетя Алла перед зеркалом подкрашивается алой помадой, которая не очень вяжется с ее губой. Мама вертится в болоньевом костюме, создавая шума не меньше дворника, подметающего асфальт. Даже когда она в детской, я все равно чувствую, где Они прячутся – плоские и немые, липнут друг к дружке, жмутся по углам в ожидании моего появления. Кстати, больше всего Они теснятся именно возле шкафа. Кудрявый мальчик глядит на маму в упор, мама не видит его, я иду в кухню: там уютнее и не так жутко.

...мрачноватый цвет, понимаю, но мне не к лицу, хочешь, я предложу своим девчонкам, не представляю, куда в таком, и фасон не мой... а ну да, конечно, она немного меня полнее, ей будет впору... спасибо, спасибо, ну извини, не знаю, куда такое носить... да, Алла, у меня же еще стирка, заходи, ко мне первой заходи...

Ты не ушла гулять? Ну, поди тогда поиграй.

Все знали, что на Рынковой улице нет лучше едальни, чем наша. И чище у нас всегда было, чем у Натани, и просторнее. Гляди, я могу показать тебе, как свет красиво падал из окна, какие столы хорошие, и готовит моя мама вкуснее, чем Натанина мама. У Натани дома окна низкие, смотрят, будто исподлобья, не светятся совсем. Но Натан все равно мой самый лучший друг. Сейчас бы я не отказался и от похлебки его мамы. Только она пропала одной из первых. Синагога еще была, а ее уже не было.

Больше всего мы с Натаней любили шататься по пятничному рынку. Все лавки

перед выходными распахнуты настежь, всюду шумно и весело, торгаши приезжают из деревень, купить мы ничего не могли, но за спрос не бьют.

А потом Арон нам с Натаней разрешил удить рыбу бесплатно. Тогда Большое озеро еще Арону принадлежало. Он думал, раз мы дети малые, то и улова у нас быть не может, но у нас довольно быстро начало получаться, мы сбывали рыбешку побольше старухе Ривке, а поменьше оставляли себе. Натан всего на два года старше, но жутко умный. Он придумал сушить рыбу и потом тоже недорого продавать. А я вот пока, сколько ни думал, так и не придумал, что можно продать. Я даже с будущим своим не определился. Ремеслом мне заняться каким-то, допустим, или отель открыть шикарный. Вот только чтоб не хуже, чем у Фишера. Для этого нужен ум, как у Натани. Но ребе Аба обычно говорит: Моше, ты умнее Натана, тебе нужно учиться, а Натан – хитрый и ловкий, с его смекалкой он никогда не пропадет.

Но он все-таки пропал.

Я так и не понял куда.

В тот день мы вместе побежали к зданию школы, потому что начиналась Гроза, и помнится, там впереди как раз маячила Натанина старшая сестра, кажется, она даже испуганно покачала головой, увидев нас, но мы уже неслись быстрее ветра, не могли остановиться, так разогнались. Просто мчались навстречу всем знакомым людям, бредущим к школе. Внезапно, точно из-под земли, возник мой отец, схватил меня за руку и потащил в подвал под складом, где раньше муку хранили. Теперь там было тесно, темно и смрадно. Пищали дети, и хохотала какая-то женщина. Я не видел какая. Ее пытались успокоить, велели замолчать, даже угрожали. Но она все равно хохотала. Иногда тише, иногда громче. Шепотом я спросил у отца, почему она смеется, и отец сказал, что ее сына убили. Что же тут смешного? – возмутился я в ответ, прямо в самое ухо отцу возмутился, потому что он сидел на корточках, а я уже давно выше него, когда он на корточках, ведь мне уже почти девять. Но он ничего не ответил. Слышишь, как он молчит?

Я знаю, что ты слышишь. И если увидишь Натана, передай ему, что я его искал. До последнего.

Год назад у папиной кузины была свадьба, а сейчас появилась маленькая девочка. Черненькая, похожая на утенка: сплюснутый нос, большой рот. Пальчики маленькие, ручки маленькие, постоянно в движении, думаю, она пытается взлететь, тянется к потолку вслед за своим ангелом. Баба говорит, что у всех детей есть ангелы-хранители, опекающие их. Но, к сожалению, вырастая, люди забывают об этом.

Теперь тебе будет с кем играть, посмотри, какая славная Аля.

Аля, может, и славная, но играть с двоюродным братом Владиком куда интереснее. Владику восемь лет, и он уже давно ходит в школу, а Але восемь дней, и она не ходит пока даже на горшок, да что там, она и просто ходить еще не скоро научится. Хотя у Владика недавно появился родной брат Сашка и ему больше не нужна компания для игры, можно развлекаться, не выходя из дома. Только у меня никого нет. Разумеется, за исключением двоюродных братьев и вот теперь еще Али.

– Ты хочешь сестричку? – интересуются мамини знакомые.

Мне не нравятся маленькие дети, теперь я это точно знаю, и не хочу я никакой сестрички. И братика тоже. Я хочу, чтобы у мамы меньше болела голова, когда она приходит с работы, и чтобы она мне пела колыбельную на ночь. Я согласна даже слушать «Придет серенький волчок и ухватит за бочок», если на то пошло. Хотя это и самая глупая колыбельная на свете. Но мама говорит только «Спи!» и сразу гасит свет, особенно если папы нет вечером дома. Когда папа дома или в

командировке, она сама укрывает меня одеялом и желает сладких снов. Но не всегда: если папа дома, но почему-то валяется на полу, она говорит только «Спи!» и сразу гасит свет.

Вышел месяц из тумана, страшный, как преступник из газет, с ножиком в кармане, так говорил сегодня Ваня, когда они считались, кому водить. Откуда взяться карману на голубовато сияющей пижаме месяца, чтобы что-то там прятать, тем более ножик? Он сам острый, этот месяц, можно порезаться о его края, то как «С», то как «Э», – походит на серп, которым Дед срезает крапиву у сарая. Маша говорит, что смотреть на него вредно, даже опасно, особенно маленьким детям. Но что делать, если месяц сам упорно таращится в окна, разрезая тьму сливочной дорожкой вдоль всей детской, по которой перемещаются тени? Месяц все портит, особенно если я уже начинаю дремать. Выходит из тумана, ведет себя как дома: тук-тук, я знаю, кто в теремке живет. Я Мухой-Горюхой прячусь под одеяло, но у его фонарика никогда не садится батарейка. Они радуются его появлению, вертятся у моей кровати и принимают рассказы страшные сказки. Днем еще сносно, я могу оставить Их с носом и уйти гулять. Ночью все иначе.

Жуткое время – ночь.

Мама поднимается по лестнице первой, торжественно, с коробкой конфет, прижатой к груди, папа несет свертки, в них остальные подарки, я ничего не несу, я думаю, что все-таки это странно – строить такой высокий дом, чтобы всякий раз вот так карабкаться по ступенькам. Здесь их еще больше, чем в доме из красного кирпича. Этот дом из кирпича белого, и все жилые комнаты дядя Митя обустроил только на втором этаже. Дядя Митя – папин брат, у него вечно недовольное лицо, громкий голос, большой живот, а недавно появился этот новый двухэтажный дом и третий ребенок. Два последних события удачно совпали, и теперь мы идем на новоселье и в отведки. Не знаю, что такое отведки, но это как-то связано с тем, что у Владика теперь есть еще один родной брат, а у меня еще один двоюродный.

Мама поднимается по лестнице, ее серое пальто касается перил, она заметно нервничает, свободной рукой поправляет прическу, медлит у двери, папа заходит первым, следом вбегаю я, в залитой апрельским солнцем передней летают золотые пылинки, пахнет голубцами и пирогом, мама закрывает дверь, я сбрасываю сапожки и жду, пока мне помогут снять куртку. Мы пришли последними, Баба с Дедом уже здесь, и родственники тети Инны, матери моих братьев, тоже: ее высокий худощавый отец, которого все почему-то называют Кожухом, похожая на тень мать с глубокими складками у губ, брат Толик с женой и их маленький сын Игорек. Игорек стеснительный, такой же, как я, но вдруг оказывается, что мы можем составить друг другу чудесную компанию в путешествии по комнатам.

Комнаты маленькие и без мебели. В каждой стоит только кровать или диван. Взрослые говорят: какой большой дом! Но комнаты маленькие и без мебели, а в самой дальней стоит кроватка с третьим спящим братом и кроватка со вторым – бодрствующим, его тут же хватают и передают с рук на руки, какой ты красавец, говорит моя мама и целует среднего брата в затылок. В самой большой комнате – стол, у нас тоже такой есть, его называют книга, хотя за ним не читают, а празднуют новоселья и отведки. Мы бегаем с Игорьком из комнаты в комнату, и нам весело, Игорек мне не брат, он брат моих братьев, удивительно, но мы очень похожи, одного роста и волосы вьются, смотри, у Игорька тоже волосы вьются, хорошо, только не бегайте, почему нельзя бегать, потому что.

Какой большой дом, четыре комнаты, одна проходная, а люстру сюда еще не достала, обещают гэдээровскую стенку, здесь будет гостиная, кресло еще в гараже осталось, телевизор все-таки лучше в этот угол, да, спальня небольшая, но нам хватит, платяной шкаф мы уже купили, полированный, сомневаюсь, не нравятся они мне, дети постоянно оставляют свои пальцы на дверцах, не знаю,

какое покрытие лучше – с ворсом или без, а кухня просторная, уютно, табуретки – дело наживное, как говорится, хотите, мы отдадим вам свои, зачем им твои табуретки, хороший тюль, нет, не слишком густой, сейчас не в моде ажурные занавески, какой чудесный малыш, на тебя, Инна, похож, дети, не бегайте, конечно, надо, чтобы и на тебя, а то все на Митю да на Митю.

Стол-книга уставлен тарелками, блюд на нем много, как на Новый год. Кожух с Дедом сидят во главе стола у окна, тычут вилками в узкую тарелку с заливным, они родоначальники, им можно начинать трапезу, никого не дожидаясь. Остальные не торопятся усаживаться, до гостиней доносится возбужденный гул: мамы не могут привести к единому знаменателю столовые приборы, папы в теории решают, как нужно на практике починить неисправное реле стартера, бабушки делятся секретными ингредиентами винегрета, время от времени кто-нибудь заходит в комнату и ставит кувшин с компотом на один край стола или бутылки, из которых детям пить не разрешается, на другой. Владик садится рядом с Кожухом, он не желает присоединиться к нашим с Игорьком играм, считает наше общество непривлекательным, нас – недостойными внимания, а себя – слишком взрослым, подумаешь, через три года я тоже стану такой, разнородные стулья с шумом передвигаются по полу, в воздухе витает торжественная атмосфера ожидания и оживления, мы переглядываемся с Игорьком, и пока рюмочки звякают – дзынь, дзынь, – не сговариваясь, ныряем под стол.

Я думала, что у стола-книги нет ног. А они просто ловко прячутся за половинками столешниц. Под разобранным, окрыленным столом нашлись и его ноги, и много ног наших родственников, живущих своей независимой жизнью. Игорек указывает пальцем на Дедовы ноги в коричневых брюках, откусывает от прихваченного со стола ломтя хлеба и, прыскавая со смеху, зажимает рот рукой, успевая выплюнуть вслед за смешком несколько мокрых крошек. Ступни Деда поочередно поднимаются, чик-чик, чик-чик, размеренно, как метроном, похоже, он нервничает. Мне становится обидно за Деда, какой глупый Игорек, лучше бы смеялся над своим, но с ногами Кожуха ровным счетом ничего не происходит, на его ногах толстые серые шерстяные носки, будто два жирных кота, свернувшихся клубком на печи. Весной – в шерстяных носках! Вот еще новости! Я и зимой с трудом выношу их колючесть, странный этот Кожух.

Целый хоровод ног окружает нас с Игорьком: ноги Кожуховой жены с круглыми коленками, ноги мамы Игорька, обрезанные сверху светлой вязаной юбкой, и папы Игорька в серых брюках, Дядь-Митины ноги в таких же серых брюках, только гораздо больших по размеру, две колонны огромных Бабиных ног телесного цвета, ноги моего отца, такие же нервные, как ноги его отца, и мамнины ноги, смущенно прикорнувшие под подолом нарядного велюрового платья винного цвета, ноги Владика – худые и тонкие, как палки, которые пинаются и выдают наше с Игорьком присутствие под столом. Ногам тети Инны не сидится на месте, они то возникают рядом с Дядь-Митиными, то уносятся в направлении кухни или младших сыновей.

Я выбираю стройные ноги с подолом винного цвета и карабкаюсь по ним. На шее у мамы золотая цепочка и кулон с колокольчиками. Цепочка такая тонкая, что может нечаянно порваться, объясняет мама, когда я начинаю кланяться кулон для примерки. Колокольчики у мамы на шее красивые, волосы красивые, платье новое, моя мама вся такая необыкновенная и бесподобная, но никто не обращает на нее внимания. Все только пьют, едят, хохочут, протестуют, радуются, бегают курить, дядя Толик щелкает затвором фотоаппарата, пересаживает и меняет нас местами, запечатлевая навеки в комнате, грезящей о гэдэровской стенке и мире во всем мире, когда начнется перестройка.

Я интересуюсь у Игорька, не знает ли он, что будут перестраивать, может быть, дядя Митя перестроит гараж в большую комнату, но Игорек какой-то непонятливый или просто не слышал, что «грядет перестройка», скорее всего, здесь, внизу, сделают такую большую комнату, которая называется холл, поставят кресло-качалку и торшер, а машину, глупый Игорек, отправят в гараж, только не на первом этаже, а рядом.

Возле дома вполне можно построить гараж. Такой же кирпичный, как дом, только поменьше. Эта мысль не дает мне покоя. Если вдруг случится пожар, то сгорит автомобиль, а дом уцелеет. Я не доверяю машинам, мне кажется, что они могут взорваться и гореть высоким пламенем с черным дымом и копотью, как в одном из черно-белых фильмов, который я видела по черно-белому телевизору.

– Я думаю, что гараж останется внизу, – сомневается Игорек. – Что такое торшер?

– Это такая лампочка на ножке. Как фонарь.

Игорек спешит узнать у Владика о возможных перспективах появления отдельного гаража в ходе перестройки, мама Игорька отправляется успокаивать хнычущего среднего брата, тетя Инна идет за огромной утятницей, в которой нет утки, но есть голубцы, тоже не имеющие ничего общего ни с голубями, ни с другими птицами.

– А теперь давай вот за что выпьем, сват... – воодушевляется Кожух и торжественно приподнимается из-за стола. – Выпьем за то, как нам повезло, за то, какие у нас чудесные внуки. Это такое счастье! У меня теперь четверо внуков, богатырей, а ведь это продолжение рода!

И закрипел под Дедом стул, и поднялся он, и стал Кожух, как пыль в вихре, как солома перед ветром. Как огонь сжигает лес, и как пламя опалает горы, так погнал его Дед бурю своею и вихрем своим привел его в смятение.

– М-да-а! Внуки! Это, конечно, счастье. Но я тебе скажу – неполное! Это у тебя еще внучки нет! Вот кабы у тебя еще и внучка была!..

Утятница с возмущенным криканием приземляется на стол, мама Игорька живой статуей застывает со средним братом на руках, Баба, всплеснув руками, укоризненно цокает языком, моя мама заливается румянцем, виноватым румянцем в тон винному платью, Дед смеется, поскольку его счастье – безусловное и полное, а все остальное не имеет значения.

Звезда и мухомор.

Смотрю на маму, мама ничего не говорит, только нервничает, очень красивая в своем дымчато-зеленом плащевом костюме. Солнце освещает ее, как актрису, весь свет единственного окна направлен на маму, будто прожектор в доме культуры, в то время как она напряженно изучает таблицу, на которой нерезко выделяются звезда и мухомор, когда я закрываю левый глаз. Когда я закрываю правый глаз, к ним присоединяется самолетик. Нельзя сказать, что я его вижу, скорее, узнаю по очертаниям, он летит прямоком к звезде, в надежде нацепить ее себе на нос, и взмыть, и сделать сказку былью, преодолев пространство и простор.

Мухомор здесь лишний – заключаю я. Заключаю вслух, но суть игры, оказывается, не в этом. Ко мне подносят смешные очки, слишком большие для того, чтобы уместиться на моем носу, поэтому – только подносят, они похожи на старинные, названия которых я не помню, кажется, кларнет, подносят и вставляют в них толстые стекла, невозмутимо интересуясь, что я вижу теперь. В толстых стеклах я не вижу ничего, даже пальцы собственных рук, это очень весело, но мамино напряжение, которое я чувствую затылком, сдерживает меня, и я позволяю менять стекла в очках, как в бесцветном калейдоскопе. Когда картинка обретает резкость, на таблице возникают лошадка и перевернутая буква С. А если закрыть правый глаз, то еще слоник и уточка. Или гусь. Возможно, и гусь, так получилось, что я никогда не видела живых гусей, поэтому рисунок может меня заблудить, то есть я могу обознаться, у нас нет деревни, чтобы их разводить и держать, только Заборные, но это не считается, я полагаю.

– Что же делать? – спрашивает мама дрогнувшим голосом и проводит рукой по волосам. Волосы у мамы тоже немного дымчатые, темно-зеленые, вьющаяся русая шапочка, как у лесной сказочной нимфы.

- Уникальный случай, очень сложное строение глаз, - подчеркнуто спокойно говорит тетя-врач, которая занимается глазами, а не акулами, как можно было подумать, исходя из названия ее профессии: акулист. - Будем подбирать очки, ничего страшного, она не первая и не последняя.

Звезда и мухомор. Лошадка, самолетик, слоник, гусь.

Тетя-врач похожа на большую усталую рыбу с печальными глазами, в которых изо дня в день вправо-влево, вправо-влево плавают голубые, коричневые, серые, зеленые радужки чужих глаз.

Такие линзы делают под заказ, долго, в течение месяца, вряд ли раньше, к тому же очереди, потому что заказ отправляют в столицу, запись наперед со всей страны, пока подберут линзы и оправу - это тоже время, детская оправа сейчас дефицит, потом, когда доставят к нам, очки можно будет забрать, предварительно позвонив по телефону.

Толстые стеклышки возвращаются в свои ящики и коробочки. Впереди маячат звезда и мухомор. Сгорая от любопытства, я подбегаю к таблице и, пользуясь маминим замешательством, изучаю: звезду, мухомор, перевернутую «С», самолет, лошадку, подкову, слоника, чайник и, наверное, уточку. Или все-таки гуся.

Очки пришли через месяц. Потом еще одни. Потом еще. Все они были слишком волшебными. Пространство в них видоизменялось до неузнаваемости: пол ходил ходуном, стены падали прямо на голову, прямо со всем своим настенным содержимым, к тому же меня с очками на носу начинало тут же пугающе подташнивать. Месяц длился решительно слишком долго для моих уникальных глаз со сложным строением. Очки не поспевали за изменениями в сетчатке.

Мама махнула рукой. Отчетливый мир ограничился звездой и мухомором. Теперь в нем присутствует несметное количество предметов, которые можно дофантазировать.

А Маша говорит, что никогда не слыхала такого слова: астигматизм, и я слишком мала для того, чтобы иметь плохое зрение.

- Ты меня видишь? - Маша встряхивает белое одеяло, расстилает его на белой простыне, следом взбивает подушку в белой наволочке. Со штампом.

- Вижу. - Я провожу рукой по кафелю печки, он холодный и шершавый.

- Значит, нормальные у тебя глазки.

Рядом с печкой нет ни дров, ни щепок на растопку.

- Почему он сегодня не пришел, тот дядя, который помогает нам по хозяйству? То есть вам.

- Какой еще дядя? - изумляется Маша и поворачивается ко мне всем корпусом, угольные колечки волос красиво падают на ее лицо, из-под белого халата выглядывает клетчатая юбка, такая же, как у мамы, я сразу узнаю, недавно «выбрасывали» в универмаге.

- Ну, я же говорю, который помогает. Дрова носит, печки топит, солдат такой, в фуражке. Я давно хотела спросить, как его зовут, а сегодня он не приходил и печка холодная.

Маша смотрит на меня во все глаза.

- Детка, печки не топят летом, когда тепло. Уже больше недели мы их не топим, и никакого дяди здесь отродясь не было.

– Как это не было! – возмущаюсь я. – Он – наш солдат-помощник и каждый день приносит дрова.

– Погоди-ка, он разговаривал с тобой? Где и когда ты его видела? Что за фуражка на нем была? У него есть еще какие-то приметы?..

У него форма, как у папы в армейском альбоме, только черная, и фуражка тоже черная, с большой птицей на лбу. Я не уверена, но мне кажется, что его зовут Хелись. Или как-то похоже. Может, это и не имя вовсе. Но каждый день во время тихого часа он кладет в печь дрова, говорит что-то вроде «Хелись Сэргут» и выходит из комнаты. Если Маша никогда не видела его, то это просто потому, что работает здесь недавно. А Хелись Сэргут ходит в наш сад все пять лет.

Маша молчит и смотрит на меня, как на аквариум.

– Тебе это приснилось, – говорит она и быстро выходит из комнаты.

Я пропустила полдник ради того, чтобы поболтать с ней, а она бросила меня одну и куда-то ушла. Даже мысли не допустила, что я могу обидеться. Возбужденные предстоящей прогулкой, мальчишки врассыпную выбегают из столовой, в то время как я выхожу из комнаты своей группы.

Мне это не приснилось неprisнилосьнеprisнилось. Но если Маша по непонятным причинам никогда с ним не сталкивалась, все равно от нее никакого толку. Нужно найти воспитательницу и расспросить ее о Хелисе Сэргуте.

Неуправляемые, как кошки, дети из младшей группы шумно проносятся мимо. От их воплей я неожиданно теряю ориентацию в пространстве и отступаю назад, к печке, похожей на гигантский самовар, выставивший из стенки в коридоре свой блестящий серебристый бок, а потом падаю, так стремительно и неотвратно, что не успеваю опомниться, – только чугунная шишечка ручки на печной дверце, к которой я прикладываюсь в полете виском, множится у меня перед глазами.

Кто-то толкнул меня и убежал. Я лежу и созерцаю тысячи ярких сполохов, десятки разноцветных сандалий, суетливо топчущих поблизости, чьи-то руки молниеносно переворачивают меня на спину, я вижу искаженное ужасом Дашино лицо и больше не вижу ничего, потому что кровь заливает мне глаза.

Штопали наживую, это большое потрясение, говорит мама тете, наложили восемь швов, но главное, что глаз уцелел.

Мама с тетей пьют чай и делятся впечатлениями о том, как их тоже, оказывается, штопали наживую. Когда родилась я, штопали маму, а когда Аля – тетю. Что-то во всем этом не сходится, во всяком случае, никаких следов штопки у мамы я не видела. И у тети тоже. У них красивые, гладкие лица и остальные части тела тоже. Я сто раз видела их обеих в бане раздетыми, не могла же я не заметить таких очевидных вещей, как шрамы.

Меня нашли в капусте, так мне сказали. Но, должно быть, я сначала родилась, а нашли меня позже. В капусте. Эта капуста могла расти только в Заборных Гумнах, однако мама говорит, что я родилась в больнице Нарбута. Значит, каким-то образом после рождения меня умудрились потерять, а потом найти. Мне не нравится капуста. Ничего против нее не имею, пока она лежит на грядках и производит на свет детей, но есть ее я не люблю. Особенно щи. Меня тошнит уже от одного вида воды с капустой, если уж есть суп, то только с макаронами. Неужели они поранились, вынимая нас с Алей из капусты, до такой степени, что их штопали наживую? И где именно росла та капуста, в которой родилась Аля, ведь она-то родилась зимой, а не летом?

Мама говорит, что в ожидании меня ее постоянно тошнило и рвало. Прямо как меня от капусты. Тетя говорит, что ей постоянно хотелось мандариновых

корок. Я говорю, что мне тоже хочется мандариновых корок.

Они смеются и спроваживают меня развлекать Алю. Аля уже умеет сидеть и улыбается мне беззубым ртом. Кажется, я ей нравлюсь.

– Будем сочинять стихи, давай?

Мне хочется ее увлечь, взять в союзники, разделить эту смутную радость от игры в слова, но она делает вид, что не понимает.

– Обыкновенные стихи, какие же еще, что ты – стихов не знаешь? Как это зачем, это очень интересно... Конечно, получится.

Я прицепилась к Люське, как репей, а у нее загадочный вид и какие-то дела, она долго-долго молчит, не отказывается и не соглашается.

– Можно я сочиню про розу? – наконец говорит Люська и уходит, взмахнув белыми хвостиками косичек на прощанье, тускнеет в тени дома, пять этажей загораживают весь свет, загораживают весь Свет, я стою, изучаю крапинки на листьях сирени, не знаю, о чем сочинить мне.

Рассказать ей тот стишок про люстру, который я придумала на выходных, нечестно. Она сочиняет сейчас.

Сей час. Я сею час, сею два, но безрезультатно, никаких плодов. Уже десять раз обошла вокруг дома. Это называется: шляться, как бедный родственник. Так мама говорит. А мне со двора нельзя и домой не хочется. Я хожу вокруг дома и воображаю, как люди смотрят на меня из окон и о чем они в этот момент думают. Думают, что это за девочка такая, откуда она здесь, ах, эта та, из третьего подъезда, надо же, как подросла, куда это она идет.

Маленькая Глаша падает с качелей. Вторая сестра бьет третью по заднице за то, что та не углядела. Пока режут третья и четвертая, из подворотни вихрем вылетает первая, старшая сестра и бьет вторую за то, что та ударила третью. Это называется цепная реакция.

Мальчишки толпятся у края дороги, приседают на корточки, колотят по бордюру чем ни попадя в поисках стеклянных шариков. Бордюр крошится, выплевывает камни, разводит грязь на асфальте, того и гляди весь развалится. Мне это не нравится. Не нравится, что бордюр сделали тяп-ляп. Не нравится, что они его ломают. Дались им эти шарики. У меня есть два. И оба щербатые, с застывшими пузырьками внутри и глубокими трещинами оттого, что их силой выдалбливали из бетона. Эти шарики держат бордюр, но, похоже, от него скоро ничего не останется. Шариков, впрочем, тоже скоро не останется.

Глаша бежит, хохочет и падает на асфальт. Смех превращается в плач, пронзительный, как пожарная тревога.

Можно спрятаться от них в кустах. Хорошо бы там поставили скамейку. Но тогда это будет общее, всехнее место, а пока только мое. Ну и Люськино еще.

Тонкие, яркие листья акации подрагивают на ветру, шевелят своими парными пальцами. Один лист – семейство близнецов. Красивое слово: акация. Похоже на принцессино имя. Можно написать о ней, но сложно подобрать рифму. Акация – аппликация, акация – желтый боб. Я срываю цветок, быстро сую в рот, не хватало, чтобы это кто-то заметил, закрываю глаза, растворяюсь в сейчас, акация – автостанция, акация – аконит. Акация и аконит рифмуются желтыми съедобными цветами. Акации полно, а аконит вырастет еще не скоро. Пойти, что ли, домой.

Люська быстро бежит наискосок через дорогу, поднимая с обочины пыль, прямо к кустам, где я прячусь.

- Ну, слушай!

Роза – самый красивый на свете цветок.

У нее тонкие лепестки и чудесный аромат.

У розы есть колючки, но она все равно – прекрасна!..

Люська умолкает, улыбается и смотрит на меня.

- Ну как, файно у меня получилось?

Я согласно киваю головой. Сама виновата, не объяснила ей про рифму.

- А ты? Сочинила?

- Нет, – почему-то шепчу я, горло перехватывает от жалости к Люське, от неумения рассказать ей про рифму, от невозможности высказать свои чувства. – Не успела.

Люська смотрит на меня снисходительно, с плохо скрываемым превосходством. Глаза у нее хитрющие, как у лисы, нос усеян конопushками.

- Ладно тогда. Пока. Я сегодня уже не выйду. К Снежане придет жених свататься.

Люська убегает, а я вдруг понимаю, что совершенно продрогла и мои гольфы влажные от росы, понимаю, что хочу, чтоб меня пожалели из-за холодных ног, что хочу заболеть и лежать под одеялом с горчичником и колючим шарфом на шее, как бывает зимой, и сочинить стихотворение в рифму, не такое, как про люстру, и уж точно не такое, как у Люськи, а такое, чтоб носить его в себе и гордиться им, поглядывая на других Люськиным снисходительным взглядом.

Окно в моей комнате всегда выходит в дождь. Или давится сквозняками. Так построен дом. Тени никогда не исчезают, ветра со стороны озера не бывают южными, солнце надменно минует мой третий этаж, если хочешь, можешь облокотиться об облака.

На крыльце дома из красного кирпича всегда было ясно, даже если весь Валсарб облачался в бежевое и блеклое. Желтый мохнатый клубок, пришпиленный сверху над самой крышей, бесцеремонно распускал свою солнечную пряжу на наши головы. А потом случилась перестройка. Грандиозная перестройка на улице Великой, разрушившая большинство зданий из красного кирпича. Пока она шла, жильцы ютились в каких-то чужих домах, невесть чему радовались, предвкушали и считали дни, как дети в ожидании праздника.

Когда мы приходим оценить результат, бывшие постояльцы выглядят довольными и счастливыми, точно выиграли в лотерею главный приз. Дедов дом теперь длинный, зеленый и деревянный. Высокое крыльцо превратилось в пять ступенек до двери и смотрит в другую сторону. За стенкой в кухне живут соседи, и за стенкой в спальне живут соседи. Хорошо еще, что не ходят через нашу дверь. Баба счастлива тем, что больше нет лежанки, занимающей полдома, а есть маленькая печь на кухне и плита в коридоре. Комнаты небольшие, зато две. Это зал, а это спальня. Дед тоже кажется счастливым. Теперь он может сидеть у окна в кухне, курить и быть в курсе всех событий. Пан Бог всевидящий.

Только я несчастна. Ума не приложу, когда я успела проникнуться уходящей натурой, но знаю, что дом из красного кирпича нравился мне больше. Меня очень разочаровал этот низкий новый дом, который старается держаться поближе

к земле, точно старушка с клюкой. К тому же мне не нравится зеленый. Даже старая хатка выглядит лучше всего этого нового дома. Хорошо, что перестройка не коснулась ее и сада. Стоит, бесподобная, будто ей и дела нет до окружающих перемен.

Когда мы уходим, Дед машет мне рукой из окна и пускает колечки дыма. Маленькое окно жадно хватает воздух распахнутой форточкой. Солнце мечется сквозь облака на грани помешательства, не зная, за что зацепиться.

В центре инсталляции миртовое дерево, пустившее корни в огромный белый бак с черными следами оббитой эмали, бак-далматинец, бак – цветочную кадучку, где живет нимфа Мирсина, которую Афродита убила из ревности, с обеих сторон попытка сенполий стать доверчивыми фиолетовыми звездами, у них ничего не выходит, бархатные листья горят на ярком полуденном солнце, то и дело превращаясь в рыжую труху, осыпающуюся между пальцев, и здесь на авансцену выходит герань – не рань, не рань, с ней у Бабы никаких хлопот, ее цветы настолько розовые, просто невозможно поверить, что этот цвет создан природой.

Стол накрыт белой скатертью, вышитый подзор скрывает необработанный край, рядом деревянная самопрялка – нажмешь на педаль, колесо вздрогнет, пугливо натянет нить, что делают с ней, я пока не знаю, в начале лета у прялки отпуск, а зимой, когда она под Бабиным управлением трудится, я на Великой бываю редко. Летом появляются новые носки и новые половики, сотканые на кроснах, а еще новые занавески-сеточки на входных дверях, которые не помогают от мух, такие у них большие ажурные глазки, любая муха проскочит, у нас дома никогда не бывает таких занавесок, правда, и с мухами на третьем этаже попроще. Из угла за мной пристально наблюдает Мать Божья, не Валсарбская, какая-то другая, удивительно, что Бог один, сын у него один, а Матерей с ума сойти, как много – поди разберись. Она тоже желтая и золотая, на голове у нее корона, поэтому в моем воображении она неразрывно связана с картиной «Царевна-Лебедь», которая висит в нашем детском садике рядом с перекидным календарем. Внизу стоит телевизор, открывающий Мадонне свой вид сзади, ей неизвестно, как выглядят дикторы и актеры, ее взор устремлен на черный футляр корпуса, чье нутро я из любопытства изучила еще в два года, и на наши лица напротив. В серванте густо-рубинового цвета стоит вишневый сервиз, много белой посуды, фарфоровые статуэтки и моя фотография. Мир за его стеклом источает аромат духов Dzintars – подарка Бабиной сестры Геновефы, вперемешку с тонким запахом чайной заварки, восковых свечей, старой корреспонденции и бумажных записок с важной информацией. Мир снаружи стекла пряно благоухает геранью и золотыми солнечными пылинками.

Если мы с Дедом играем в магазин, в главной роли всегда фасоль.

Бобы быстро заканчиваются, их урожай невелик, недостаточен для того, чтобы хватило на всю зиму и осталось для игры в магазин. Другое дело – фасоль. Ее всегда с лихвой, для супа на весь сезон, для хранения в банках, холщовых мешочках и металлических коробках, для нескольких вариантов игры в магазин. Иногда фасоль – это то, что Дед покупает. Иногда фасоль – это то, за что Дед покупает. Иногда она – продукт питания, иногда она – деньги. Покупатель всегда Дед.

– Взвесьте мне кило фасоли! – раскатисто басит он.

– Все, товарищ, это все, что осталось, здесь пятьсот триста восемьдесят грамм, будете брать?

– Давайте! – соглашается Дед. – Сколько я должен?

– Пять рублей!

- Что так дорого? - Дед не выдерживает и начинает тихо посмеиваться надо мной.

- Тогда я ее себе оставляю...

- Ладно. Вот, возьмите деньги. - Дед дает мне несколько бобов.

- Ой, я должна вам сдачу...

Всякий раз игра заканчивается одинаково - Дед зычно смеется и нахваливает меня:

- Мать, ты глянь, что делается. Она и товар мне взвесила, и этим же товаром сдачу дала!

Калитка в сад всегда открыта. Чужаку и в голову не придет проникнуть в царство Пана Бога, где все исполнено его духа. Сад начинается жасмином слева и хаткой справа. Их разделяет каменная площадка, которая в прошлой жизни была крыльцом, а стала порошком с орнаментом из ярко-зеленого мха и случайных, как просроченные письма, прошлогодних ржавых листьев с бурыми прожилками вен. Он неуклюже перетекает в ступеньку, омытую дождями, обитую сапогами, бетонную ступеньку, ведущую в сад. Ступенька выглядит так, будто выросла из травы. Мнит себя лестницей вверх или лестницей вниз - неизвестно. Может, ей снятся сны о том, что она - мраморная статуэтка. Может, о том, как она станет ступенькой в лестнице к эдемскому саду, где растет Древо познания добра и зла.

- Бог посадил это древо в самом центре Рая и велел Еве не трогать плодов его. - Баба срезает пионы, чьи лохматые, пурпурные головы, высывающиеся из-за забора, не хуже эдемского змия искушают местных мальчишек.

- Почему нельзя было трогать плодов его?

- Нельзя, и все! Так Пан Бог сказал...

- Зачем же тогда он его посадил, да еще и в самом центре Рая?

В центре нашего сада растет вишня. Она старая и почти не плодоносит. Если на ней появляются ягоды, то едва ли не все сморщенные и безвкусные. Что до райского изобилия, то в узком смысле его представляют многочисленные кусты красной и черной смородины, колючий крыжовник и Дедов табак. На роль Древа познания добра и зла претендуют три яблони. Они такие высокие, что в их тени не растут ни клубника, ни цветы. За пионами ухаживает Баба. Куст большой, красивый, скрывает несовершенства забора и радует глаз.

Дед неожиданно оказался приверженцем хрупких, прихотливых цветов. Год за годом с прогрессирующей сентиментальностью он высаживает все больше и больше тюльпанов и нарциссов. Я подозреваю, что им темно и неудобно в тени жасмина, где только к началу июня заканчиваются их робкие попытки дотянуться до солнца. Но даже когда в очередной раз оказывается, что луковицы были высажены чересчур глубоко, а весна выдалась с заморозками и цветы Господние едва достигли тридцати сантиметров роста, Дед неизменно горд собой и счастлив. Он терпеливо ждет, пока из земли проклюнутся первые упругие побеги, пока из почек стыдливо выглянут шелковые оборочки лепестков, чтобы, по своему обыкновению, тыча папироской в крошечные, анемичные головки тюльпанов или гофрированные ноготки нарциссов, подарить их мне. Подарить - просто ознаменовав их появление. Сей дар не требует слов, объяснений и срезаний, нам обоим это известно, поскольку цветы эти посажены с мыслями обо мне, возвращены с мыслями обо мне, на радость мне, в мою честь, осанна в высоте небесной.

- Она могла выбрать любое другое яблоко?

- Любое. И не только яблоко. Любой другой фрукт. Но ослушалась Бога, съела

запретный плод, угостила им Адама, так они были изгнаны из Эдема.

– Только за то, что съели яблоко?

– Они ослушались Бога. А это смертный грех.

На грядке с клубникой белеет несколько мелких ягод. Клубника нуждается в свете и тепле, но под зеленый яблоневый шатер не в силах пробиться даже тысяча солнц.

Баба наливает воду в трехлитровую банку и опускает туда пионы. Не существует вазы для такого огромного букета, по крайней мере не в зеленом доме. Банка устанавливается на подоконник, стебли пионов покрываются сотнями мельчайших пузырьков, я наблюдаю за тем, как цветы заново учатся дышать в воде, но, когда в окне мелькает Алеська, выбегаю следом за ней.

Она рассказывает, что на озеро прилетели лебеди, и, разумеется, я хочу их покормить.

Мы бежим по глинистой тропинке к озеру, вдоль нее тянутся соседские огороды, ты такое когда-нибудь видела? – Нет, я никогда раньше не видела столько клубники, спелой и красной, как на картинке, не помню, ела ли я вообще когда-нибудь клубнику, или у меня есть о ней только общее представление, как о пингвинах в Антарктиде и эдельвейсах в горах.

– Это Фурминихи клубника, – говорит Алеська, торопливо засовывая ягоды в рот. – Возьми себе, смотри, как у нее много.

Я думаю о белых клубничинах в нашем саду, о Бабе, которая из года в год варит крыжовенное варенье и смородиновый джем, вспоминаю, как Дед каждый день заглядывает под клубничные усы в надежде меня порадовать. И решаю порадовать их сама. Точнее, решаюсь – робко и отчаянно. Внутренний голос что-то нашептывает мне, нечто мягко протестующее и тревожное, однако настолько тихо, что, когда я вбегаю в дом, в моем подоле лежит не меньше двадцати больших ароматных ягод.

Но Баба говорит: или ты дурная?

Она не понимает, зачем я взяла эту клубнику у Фурминихи, как я могла ее сорвать, Йезус Мария, для чего это нужно было делать, что тебя надоумило пойти туда и так поступить, или ты голодная, но ведь это чужое, ведь чужое брать нельзя, или ты дурная?

– Сама ты дурная! – кипячусь я, и Баба в сердцах хватается со стула Дедов брючный ремень.

Дед вырастает между нами, как Джомолунгма вдоль и Великая Китайская стена поперек. Пан Бог милосердный. Пан Бог скорый на расправу. В мгновение ока он выхватывает ремень из рук оторопевшей Бабы и, трясаясь от негодования, замахивается им на нее. Баба с воплем выбегает из комнаты, будто раненая индюшка, широко расставляя свои толстые больные ноги. Причитает за стенкой, униженная несправедливостью обиды. Она ослушалась Пана Бога. Я – Дедов неприкосновенный, любимый плод. Нельзя покушаться на плоды его.

Теперь мы обе наказаны богами. Обе ревом белугами в разных комнатах.

Обе вкусили от Древа познания добра и зла.

Жила-была на Замковой горе царевна Дрива с родителями, или не царевна, но точно не Премудрая. Не от большого ума она науськала троих братьев из-за нее поубиваться. Правда, один выжил. Но отказался жениться. Зачем, говорит, ты мне

теперь, несчастная женщина, если родственников меня лишила?

Махнула тогда Дрива левым рукавом – и стало озеро, махнула правым – поплыли по озеру белые лебеди. Пока все удивлялись, она – тыдыщ! – и бросилась с горы в это озеро. А выживший принц остался Валсарбом править, когда родители Дривы тоже умерли. От горя, наверное.

Мы с Дедом идем на наше озеро, которое все зовут Маленьким, по глинистой, пружинистой тропинке мимо нашего гаража, мимо наших сараев, мимо огорода тети Вали, мимо клубники Фурминихи, мимо грядок Алеськи, мимо картошки Рысика, с которым Дед играет в карты на деньги, когда кончается пост и выдается выходной.

Валсарб – это город-озеро. Иной раз кажется: потеряй вся окружающая вода терпение, она сможет затопить все улицы, по макушку Замковой. К счастью, пренебрежение Валсарб демонстрирует чаще, чем истерики.

Здесь у каждого есть свой персональный кусочек берега на своем персональном озере или хотя бы деревянные мостки. У каждого имеется свой лаз в камышах, тростнике или рогозе, раньше я думала, что это одно и то же, но Дед объяснил мне разницу, еще я знаю, как понять по трепетно склонившим головы тростниковым метелкам, насколько далеко спрятаны сети.

На наших мостках стоит Баба и стирает белье прямо в озере. Солнце светит нещадно, воздух желтый и белый, я ничего не вижу, кроме мокрых разводов на досках. Душно, как в преисподней, влажный горячий ветер обжигает лицо, хочется мокрых разводов на теле, даже несмотря на то, что я не умею плавать. Стрекозы летают синие, вода в озере зеленая, само озеро бездонное, водомерки измеряют расстояния ногами-циркулями. Я сажусь разморенная, как сонная плотва, с той стороны мостков, где Баба не успела напустить мыльной мути, и опускаю ноги в воду. Баба с коротким плеском бросает вниз белый пододеяльник, медленно распускающийся на воде, точно виктория амазонская. На наших озерах есть только желтые глазки кубышек, жеманно покачивающихся и восковых на ощупь, одно время я полагала, что они искусственные, как цветы в маленькой вазочке у Алеськи на подоконнике. Пододеяльник раскрывается, и я знаю, что это тот, с прожженной утюгом шрапнелью дырочек в центре. Целое постельное белье хранится у Бабы в серванте, на средней полке, до каких-то одной ей известных лучших времен, мыло течет по ее широким ладоням, капает на ноги, я щурюсь, и белая пена на моих глазах превращается в радужный спектр. Баба всегда стирает. Это ее призвание. Если она не стирает на озере или дома в огромной бочке с двигателем, называемой стиральной машиной, то стирает на хлебозаводе. Она работает прачкой. Ей приходится полоскать огромные горы материи различного предназначения и происхождения, выжимать их натруженными руками и не роптать на судьбу. Она так невозмутима, будто ей, такой большой и грузной, не трудно раз за разом наклоняться, словно мокрый пододеяльник не весит центнер.

Говорят, раньше, до того как уровень озер в Валсарбе принудительно понизили, люди ловили рыбу прямо с крыш. С одной стороны, это очень удобно, в особенности для больных спин и ног, с другой – я дико боюсь утонуть. Белье, вынимаемое из таза, похоже на гигантские свечи, чьи мыльные слезы стекают на подсвечник, белье, погруженное в воду, пузырится парусом и норовит пуститься в дальнее плаванье. Я заворожено наблюдаю за ним, художественно расположившись на мостках.

Дед выныривает из тростника с засученными рукавами и эффектно подвернутыми до колен штанинами, приближается ко мне, протягивая нечто зеленое и живое. По моей спине пробегает легкий холодок, я боюсь, наверное, абсолютно всех существ божьих, тем паче гадов озерных, но Дед уже бросает рядом со мной небольшой глянцево-панцирь с клешнями и торжественно объявляет, что на обед будут раки.

Меня приняли в школу несмотря на то, что я нарисовала неполноценного человека. Поговаривали, будто кому-то достаточно было изобразить солнышко и дерево, но мне приемная комиссия предложила нарисовать натюрморт или человека какой-нибудь профессии, а у меня, как назло, хорошо получаются только принцессы. Я на днях как раз научилась рисовать им роскошные кружевные платья с воротниками-стойкой, как у Снежной королевы, банты на талии и туфли на каблуках. Натюрморт мне не подходил категорически. Ни одно блюдо, выйди оно из-под моей руки, не уместило бы фруктов, с пропорциями у меня скверно, а мои художества «на глазок» можно смело отправлять в тартарары.

Мне нравится рисовать, и, возможно, в будущем я могла бы стать «неформальным лидером абстрактного экспрессионизма в живописи», как было написано в альбоме по искусству под репродукцией Дж. Поллока. Баба прочитала мне только эту надпись, а про экспрессионизм ничего пояснить не смогла. Но когда я стояла перед приемной комиссией, нечто подсказало мне, что сейчас мои начинания в этом направлении, тем более в этом отдельно взятом здании валсарбской школы, себя не оправдают. Что до профессий, то с ними дела у меня тоже обстоят неважно, и я, должно быть, довольно долго сидела и просто мусолила в руках карандаш, пока наш педиатр, один из членов приемной комиссии, отзывчиво не перечислил, кого, на его взгляд, я могла бы изобразить, к примеру повара, врача или, допустим, моряка, чем здорово мне помог, ведь я уже собиралась нарисовать папину профессию – шофера, но машина у меня точно не получилась бы, в особенности грузовая, вот и поди докажи потом, что это шофер.

Зато моряком был муж моей бабы Геневефы, не в Валсарбе, конечно, в Валсарбе и моря-то нет, да и в форменной одежде я никогда его не видела, но это не помешало мне живописать полосатую тельняшку, брюки с ремнем и шапочку с ленточками. Получился вполне симпатичный матрос, отлично выдержанный в голубой гамме, я даже удивилась. Но школьную приемную комиссию мой рисунок только развеселил. Гогоча от смеха, они передавали его друг другу. Дело в том, что у моего матросика не было рук. То есть – абсолютно. Пока они смеялись, я переживала, что учиться меня не возьмут и придется сидеть дома до семи лет. Но комиссия учла мое рвение и неумное желание – в школу меня приняли. Отсутствие рук у матроса списали на то, что он держит их за спиной, прогуливаясь по набережной курортного городка в ожидании отплытия.

У меня новые белые манжеты и новый белый воротничок, такие же белые фартук, банты и колготки, гладиолусы для разнообразия красные, а форма коричневая, но все это тоже совершенно новое, как и первый день осени, как здание школы, как дети в классе, как тетя, которая сказала, что ее зовут Ваша Классная.

Я – Ваша Классная руководительница, и сегодня, на этом первом для вас белом уроке в школе, я хочу поговорить с вами о Милосердии.

Она так и произнесла это с большой буквы: о Милосердии.

Вот это совпадение, во время воскресной мессы ксендз как раз пояснял Пятую Заповедь Блаженства на примере притчи о милосердном самарянине и тоже растягивал и смаковал это слово: ми-ло-серд-ный, которое у него звучало немного мягче, потому что в польском «сердце» нет буквы «д».

Она стоит возле двери, а не у своего рабочего стола, словно в любую минуту может распахнуть ее настежь и упорхнуть, загадочная птица Ваша Классная. Говорит нараспев о том, что исключительно благодаря правде и справедливости скоро воцарится мир не только на земле, но и в каждом отдельно взятом коллективе. Что время, в котором мы живем, положит начало Эре Милосердия, где счастливо заживут наши трудолюбивые люди, подавая пример другим народам.

В костеле говорили иначе. Пан Бог щедр, долготерпелив и милостив. Правда бывает болезненной, а справедливость – жестокой. Я-то знаю это теперь, после того как нам с Алеской велели пойти к соседке и сознаться про клубнику. Фурминиха только посмеялась и с миром нас отпустила, а ведь могла бы и отчитать. Или потребовать какую-нибудь плату. Взять хоть злосчастный цветочек аленький. Ничего особенного, но из-за него можно и в лапы к чудищу угодить. Это называется: плата по справедливости. Но как хотите, чтобы с вами поступали, сказал ксендз, так поступайте и вы с ними. Милосердие не оправдывает зла и жестокости, но помогает страждущим и заблудшим душам. То есть всегда помогало, и раньше, в незапамятные времена, тоже. Ни о какой наступающей новой эре он не упоминал.

Я знаю, что до нашей эры были динозавры, Всемирный потоп, придумали календарь и жили все мои любимые герои из греческих мифов, которых я видела в мультфильмах. Потом наступила наша эра, и родился Сын Божий. Про новую эру я ничего не поняла, потому что во время оставшейся речи учительницы думала о Геракле и его милосердии к Прометею и очнулась, только когда увидела, что все вдруг дружно поднялись из-за парт и бегут вручать Классной свои скукоженные хризантемы и потрепанные гладиолусы.

– Пан Бог все знает наперед? – спрашиваю я у Бабы, когда мы заезжаем на Великую похвастаться моей школьной формой.

– Все, детка.

– Прямо как Зевс... Значит, он знает, кто будет милосерден, а кто нет? Зачем же тогда он убеждает, что все можно исправить?

– Он предлагает человеку выбор. Быть хорошим или быть скверным. Или согрешить, покаяться и все исправить. Этому помогают иногда другие люди, иногда ксендз...

– Ну точно как Зевс! – воодушевляюсь я. – Он тоже обо всем наперед знал, но, если кто-то вмешивался, иногда позволял улучшать события!

Это началось с Каби, мальчика, который прятался в консультации.

Поначалу это была просто игра, а потом я начала в ней жить.

Очереди в консультации огромные, а передняя маленькая, вся затоптанная, в грязных потеках талой воды на полу. На своих ботинках люди приносят в консультацию снег, похожий на халву, в своих объятьях – закутанных в ватные одеяльца малышей, приносят болезни непоседливых дошколят и умничающих школьников, свое скверное настроение и чудовищный кашель. Люди жмутся в шеренге «кто следующий?», тянутся поближе к кафельной печи, потому что мест на лавочке вдоль стенки никогда не хватает, отрешенными взглядами одаряют очередную входящую шубу побольше и шубку поменьше и вздрагивают от приветствий колокольчика на двери.

Зима длится очень долго, и очень холодно. Болезни настигают меня исподтишка, и в консультации я бываю чаще, чем в своем первом классе. Если бы не кровь из пальца, я предпочла бы ходить сюда каждый день вместо школы. Во-первых, у входа здесь есть шкаф со стеклянными дверцами, немного похожий на буфет, только очень старый и красивый, как в кино про прежние времена. В нем полно баночек, скляночек и мензурочек, которые интересно разглядывать, они позвякивают не переставая от малейшего сотрясения половиц, а в передней вечное столпотворение, оттого стоит несмолкаемая, завораживающая хрустальная музыка. Во-вторых, печь, такая красивая печь, каких уже и не сыщешь. Я украдкой исследую ее всякий раз на предмет сверчка, но летом в консультации не бывает меня, а зимой здесь все-таки, кажется, не бывает сверчков, зато бывает морозная, темная ночь звездная, и я еще ни разу не смогла удержаться от того, чтобы

не спеть присутствующим: за печкою поет сверчок, угомонись, не плачь, сынок, – тем самым приходя на помощь несчастным матерям рыдающих младенцев – что ж, коли нету хлебушка, глянь-ка на чисто небушко, – бабушкам, рассеяннo глядящим капризных внуков по курчавым головам, старшим сестрам, нервно пытающимся не допустить уползаний младших чад по снежно-гречневой каше пола, взгляните, как ярко светят звездочки, послушайте, послушайте, как шкаф чудесно вторит шагам моим и словам.

В-третьих, это Каби. Он здорово играет в прятки. А возможно, как и сверчок, зимой недосыгаем. Как бы то ни было, пока я так его и не нашла.

Точнее, его никогда нет. На дверях так и написано: Каби нет. Наш педиатр – серьезный задумчивый дядя с усами, похожими на папины, всегда долго и внимательно слушает мои сердце и бронхи, потом долго и обстоятельно рассказывает маме, когда лучше горчичник, а когда банки, потом перечисляет медсестре, что записать в рецепт, и я не успеваю опомниться, как уже стою в шапке, мама говорит: «Скажи доктору "До свидания!"», я говорю доктору: «До свидания» – и забываю выяснить судьбу Каби и когда он бывает. Недавно я узнала, что педиатр живет в нашем доме, в соседнем подъезде. И почему мы никогда не ходим к нему домой, когда у меня начинается ангина, если это намного ближе, чем консультация? Еще я узнала, что у него есть сын, но не Каби, а Леша.

И вдруг однажды, когда мы снова пришли узнать результаты анализов, когда все невольные слушатели моей колыбельной расселись на лавочке или прислонились к печи, к стене, к шкафчику, кто одобрительно, кто укоризненно внимая словам моей песни, я в очередной раз взглянула на дверь и поняла, что не все так просто. Я ведь только-только научилась складывать русские буквы, а это не то же, что польские. Совершенно неожиданно обнаружилось, что на дверях, возможно, написано еще и ТЕНИ БАК. Все зависит от того, в какую сторону читать.

Теней в комнате у педиатра полно, по крайней мере зимой, когда здесь светит тусклая лампочка. Никакого бака я до сих пор не замечала, надо бы приглядеться получше. Хотя вполне возможно, что бак – это сокращение от слова «бактериальный». В прошлый раз доктор так и сказал: вирус исключен, это бактериальное. Няня Маша всегда говорила, что я очень смышленная. Теперь нужно как-то узнать, бывают ли бактериальные тени.

Меня пригласили как будто от лица Люськи в чужую квартиру на чужой день рождения.

Потому что: Люська – где? – неизвестно, никого нет дома.

А Люба с пятого этажа именинница, но почему-то не позвала гостей заранее.

День серый, как Любина куртка, я сижу на лавочке, дышу свежим воздухом. Разглядываю заунывный мартовский пейзаж: хлипкие, ноздревато-дырявые сугробы и рыжую кашу на асфальте, которую скорбно притащу домой на новых ботинках. Мальчишки скачут по турникам и горкам, как умалишенные: куртки нараспашку, шапки торчат из карманов. Они вырвались из цивилизованного мира школы в дикие джунгли каникулярной жизни.

А девочки не выходят. Только вот Люба, которая обычно со мной даже не здоровается: Люська – где? Неизвестно. Никого нет дома.

Она мнетя, открывает и закрывает рот, будто что-то хочет сказать, но замечает идущую ей навстречу Аленку, девочку из большой семьи, заливается румянцем радости до корней своих конопляных волос и быстро направляется ей навстречу. Вместе они бегут к турникам, их слова заглушает восторженный рев мальчишек, они покидают свои лестницы и ледяные железные поручни и вереницей следуют за Любой, гусята за мамой-гусыней: пять мальчишек и Аленка.

– Ты тоже, если хочешь... Раз уж Люси нет. Все равно. У меня день рождения. Если хочешь, идем ко мне, – говорит Люба, глядя куда-то в сторону и немилосердно краснея.

Я думаю о том, что у меня нет подарка, но быстро ориентируюсь, что у других тоже нет, я и смущена, и польщена, чувствую себя еще одним питомцем гусиной фермы, но присоединяюсь к группе.

Подъем на пятый этаж – сердце частит, а обувь не чистит. Мы вносим в дом всю слякоть двора. Люба живет в квартире с такой же планировкой, что и у меня, только дверной проем в зал зияет отсутствием двери, с порога сразу оказываешься в комнате. А там стоит большой деревянный стол и стулья со спинками. И все. Больше ничего нет. Совсем. Абсолютно. Даже гардин на окнах, даже ковра на полу. Я узнаю кофейные обои с золотыми загогулинами, которыми была оклеена и наша квартира тоже. Но не успели мы вселиться, как мама их поменяла.

Какое-то время гости испытывают неловкость и топчутся на одном месте в этом Любином зале, который без мебели кажется мне огромным, только Валик, недолго думая, по-хозяйски усаживается на стул, устраиваясь на нем, как на лошади, и любовно обнимая спинку. Между тем я размышляю, что во второй комнате, должно быть, как и у нас, находится спальня. Но что, если там тоже нет мебели? Где же они спят все это время? Хочется убедиться воочию, что так бывает, что ничего не бывает. Но робость не позволяет мне самовольно расхаживать по чужой квартире.

Люба приносит тарелку и ставит ее на стол. На тарелке возвышается гора тонких мучных блинчиков, похожих на миниатюрные шкурки пятнистых коров. Я заинтригованно смотрю на тарелку: что-то должно произойти, чтобы она размножилась, стала частью праздничной сервировки и хлебосольного застолья. Может, это какой-то фокус? Может, Люба скажет сейчас: столик, накройся?! Я не отвожу глаз от стола, но на нем так и не появляются ни скатерть, ни приборы. И прежде чем я успеваю опомниться, дворовые мальчишки окружают его, тянут жадные руки к тарелке, Валик хохочет, прыгает на стуле, засовывает в рот непомерно много пятнистого теста, а Аленка подходит к столу с другой стороны, молча и доверчиво заглядывая Любе в лицо. Во время всех этих манипуляций Люба застывает оторопевшей безмолвной колонной. Только ее лицо меняет цвет: то краснеет, то бледнеет, как светофор, который я видела в большом городе.

В ней пробуждается жизнь, когда уже почти поздно. Ошеломленная и пунцовая, словно июльский закат, она хватается тарелку со стола и с неподдельным ужасом смотрит на два последних оставшихся блина.

– Что я скажу маме? Что я скажу маме? – вопрошает Люба. – Это же не для вас было... Это было для настоящих гостей!

– Тебе нравилось ходить в школу?

– Нравилось. Один год.

– А потом перестало нравиться?

– А потом я перестал ходить.

– Вот здорово, просто взял и перестал?

– Нужно было пасти скот. Потому что нужны были деньги. Я выучился писать и читать и перестал ходить.

– Что же ты, только и делал, что все детство пас скот? – Я ерзаю на табуретке, не умею удобно располагаться на мебели без спинки.

Острый запах серы приятно щекочет нос, это мой самый любимый запах. Дед бросает спичку в печь, у его губ зажигается рубиновый огонек, гаснет, и сизый дым медленно тянется вверх, к глянцевого кухонному потолку.

– Мы думали, я успею. Моя семья. Я был самый старший. Но потом началась война.

– Здесь были немцы?

– Были. И здесь, и в нашей деревне. Мы жили тогда в деревне.

О немцах однажды рассказывали в школе, во время классного часа, и немного в одной передаче по радио, все это очень интересует меня, но сведений недостаточно, даже Девятого мая с трибуны на площади зачитывают один и тот же текст о Победе и не вдаются в подробности о войне. Когда мы возлагаем цветы к мемориалу братской могилы, я стараюсь поскорее отбежать в сторонку, подальше, военные там зачем-то палят, как оглашенные, по три залпа подряд, а я не то чтобы боюсь этих выстрелов, просто совсем не могу выносить звуков стрельбы.

– Как же ты стал механиком, если почти не учился в школе?

– Не знаю. Попробовал, и у меня получилось.

Я оставляю свою табуретку и пересаживаюсь к нему на колени. Глаза у него желудевого цвета, я долго мысленно подбирала оттенок в природе, пока нам не велели сделать гербарий. Дубов в Валсарбе почти нет, все больше ивы и тополя, желуди на природоведение принесла Улька с последней парты. Их не вклеишь в гербарий, но они годятся для поделок на уроках изо.

Дед умеет улыбаться этими своими желудевыми глазами, только одними глазами и только мне.

– Получается, это твой талант?

– Получается, да.

– Если ты разбираешься во внутренностях автобуса, ты, должно быть, ужасно умный! А я нет. У меня нет таланта. И в школу мне ходить не нравится.

– Тебе не нравится заниматься?

Какая-то доля правды в этом есть, не нравится. Оказалось, что в школе масса мучительно скучных предметов. И у меня недостаточно пытливым ум, интересует только то, что связано с буквами. Хотя я и не без труда научилась читать по-русски. Очень долго не удавалось перенастроить мозг после краткого, но весьма плодотворного Бабиного курса обучения меня польским молитвам. Поэтому по-русски я читала бегло, но неправильно.

Дыкси «Кпацхая Моцкба» – почти весь первый класс было написано на красной коробке с Бабиными духами, ведь многие латинские буквы удивительно похожи по написанию, но непостижимым образом не совпадают по звучанию с русскими. Заслышав исковерканную кириллицу, мама бежала из кухни, размахивая издали мокрым полотенцем и негодуя по поводу моей бестолковости.

Когда буквы упорядочились, в школе у меня появился любимый предмет: чтение. И все на этом. Думаю, все.

– Тебе не нравятся ребята в классе?

Я задумываюсь, потому что на самом деле не знаю, нравятся они мне или нет. До сих пор я так и не успела ни к кому приглядеться: поначалу много болела, а потом оказалось, что тех девочек, с которыми я успела подружиться, перевели в другой класс. К тому же перемены такие короткие, а математика такая сложная, уже сейчас я просиживаю за ней каждую свободную минуту вместе

с учительницей, и она уже дважды сказала: не может быть, чтобы ты была настолько глупая.

– Тебе не нравится твоя учительница?

Пожалуй, мы не нравимся друг другу взаимно. И еще, кажется, я ее боюсь. Глядя на меня, она улыбается не глазами, а уголками губ, будто я чем-то ее забавляю, это не добрая улыбка, а в ее глазах нет ни тепла, ни покоя, как у андерсеновской Снежной королевы. Она говорит, что я скверно рисую, скверно считаю и скверно пою. Это неправда, у всех в нашей семье отличный музыкальный слух, и у мамы, и у обеих бабушек, насчет Деда неизвестно, но у папы точно есть. Я заплакала, когда она сказала, что мое пение никуда не годится. Ведь я просто стесняюсь петь громко и красиво и стесняюсь сказать, что стесняюсь петь громко и красиво, поэтому и заплакала. Весь класс засмеялся. Тогда-то она и сказала во второй раз: не может быть, чтобы ты была настолько глупая.

Да, это верно. Она мне не нравится, я не нравлюсь ей, поэтому у меня ничего не получается. Всего этого Деду не объяснишь. И я снова спрашиваю о немцах.

Дед тяжело поднимается, проходит в зал – высокий порожек при входе, бережно достает из серванта огромный конверт, а из огромного конверта рисунок с изображением мужчины в меховой шапке со звездой. У мужчины с Дедом одинаковые глаза.

– Это ты?

– Это мой отец.

– Он погиб?

– Нет, он вернулся. Но прожил всего два года.

– А я погибла на войне. И тоже была мужчиной. Только молодым.

Дед странно смотрит на меня, но ничего не говорит. Судя по всему, его смутил собственный порыв, и он жалеет, что показал мне рисунок. Возможно, он считает, что я еще неразумная пигалица. Не могу же я всерьез болтать такие глупости.

На третий день после ночи святого Яна в Валсарбе появились новые люди. Стояла немилосердная жара, воздух дрожал от зноя, а они проникали в залитую солнцем тарелку города, будто горошины черного перца в заливное. Этой приправы становилось решительно слишком много, они сыпались и сыпались со всех сторон, одна горошина пешком, две на мотоцикле, четыре в армейском грузовике. При ближайшем рассмотрении оказалось, что люди-горошины различимы в пространстве только благодаря одежде. Их глаза не имели цвета, а тела были прозрачны и пусты. Самые незаметные носили красные повязки на рукавах. Все они были светлоголовые, а их язык походил на ворчливое рычание собак, опасующихся, что у них отберут пищу.

В последующие дни новые люди прибывали, точно полчища тараканов, безостановочно. Они лезли из всех щелей, наводняя извилистые улочки города, проникали в дома, разоряли хозяйства, забирали первый, скудный урожай и несли с собой смерть.

Бесцветные люди украшали себя цепями на шее и серебряными нашивками на предплечье, оранжевыми шевронами и эмблемами орла, но все были на одно лицо, так что даже те местные, у кого они остановились на постой, те, кто решил, что лучше жить с тараканами, чем не жить вовсе, не распознавали их и не пытались различать. Достаточно того, что они всюду оставляли свои следы, что лающие голоса, доносящиеся из их нутра, иногда, будто сквозь вату, а иной раз, словно рокот колокольного набата, заставляли тела вздрагивать, а ладони потеть.

Яркие, темноволосые коренные жители вызывали у пришлых приступы непостижимой агрессии и ненависти. Когда на улицах Валсарба появились первые трупы, с трудом верилось, что все это происходит на самом деле. Веселые темноволосые быстро научились загонять страдание внутрь, сметливо сообразив, что анализировать происходящее бесполезно, а думать о нем – бессмысленно, поскольку всякая мысль разбивалась при попытке к ней приблизиться. Люди с зимними волосами забирали еду и одежду, кров и жизни их близких. От многообразия прошлой жизни у темноволосых остались только желтые лилии. Им было велено цвести, и они цвели на рукавах, на спинах или груди и на фасадах их временных жилищ.

Еще у темноволосых оставалась надежда. Сухая, как печная зола, бесплодная, как придорожная колея. Вот ее-то у них отнять никто не мог, даже при всем желании.

Когда я впервые увидела Тебя, то сначала испугалась, а потом обрадовалась.

В воскресной школе нам рассказывали о девочке Бернадетте, которой явилась Дева Мария, и я подумала было, что, возможно, Ты – Сын Божий, но у Тебя нет ни усов, ни бороды и волосы короткие. Ты ничем не напоминаешь Иисуса, одно определенно – вы оба мужчины. А эта девочка, Бернадетта, регулярно видела Деву Марию и стала святой. Я очень вдохновилась этой историей и решила отныне глядеть в оба, то есть получше, чтобы понять: нет ли у нас здесь где-нибудь женщины в прекрасном белом одеянии, но трудность в том, что я никогда не бываю на улице одна, а для таких богоугодных дел, как явление божьих ликом, думаю, нужно все-таки ходить одной, а не тащиться за руку со взрослыми. Поэтому я немножко поиграла и повоображала себя Бернадеттой, но потом мне это быстро надоело, ведь я не знаю, как у нее обстояли дела в оставшееся свободное время, когда Мария ей не являлась, нам не рассказывали.

Ты не кажешься потусторонним, но что, если Ты все-таки святой, просто я не могу тебя идентифицировать? Идентифицировать – значит распознать из многих других, но я плохо представляю, как выглядят святые, и не знаю, где посмотреть их фотографии. Судя по тем ликам и статуям, что есть в костеле, Ты совсем на них не похож. И одежда у Тебя другая, обыкновенная: рубашка, брюки, сапоги и сумочка на боку.

Я спросила у Бабы, как выглядят святые и часто ли они являются простым людям, она тоже не знает точно, как они выглядят, но, по ее словам, являться могут, скорее, демоны, посланники дьявола. Чтобы искушать людей и вводить их в грех. Я спросила, что значит – вводить в грех, и она ответила: вынуждать совершать поступки, которые заставляют Бога плакать. Я и допустить не могла, что Бог, оказывается, способен плакать. Думаю, пусть и не умышленно, но Баба ввела меня в заблуждение. Поэтому спросила: разве Бог сам не заставляет людей плакать и такой ли уж он безупречный?

Баба почему-то жутко рассердилась, сказала, что своими словами я только что согрешила, и, когда наконец – наконец-то! – состоится мое первое причастие, этот грех обязательно нужно будет упомянуть во время исповеди в числе прочих. А в конце добавить: больше грехов не помню, искренне о них сожалею, обещаю исправиться. «В числе каких прочих?» – поинтересовалась я. Баба спросила, не считаю ли я себя случайно безгрешной и для чего хожу в воскресную школу, если до сих пор не выучила Божьи заповеди. Но я выучила. И, честное слово, стараюсь никогда не обманывать, а если что-то недоговариваю, то не со зла, и пока никого не убила, даже мухи, потому что мух я и мертвых боюсь, правда, украла немного соседской клубники, но это было сто лет назад, я еще даже в школу не ходила. Возможно, когда-то прелюбодействовала, вот только не думаю, что правильно понимаю смысл этого слова.

Баба нервничала и шикала на меня, чтобы я не говорила такого вслух: если уж

грешишь, то хотя бы наедине с собой, пожалуйста.

Тогда я решила узнать, как она исповедуется ксендзу-пробошу. Какие грехи перечисляет, как о них помнит, может, ведет записи в специальной тетрадке, чтобы не забыть и случайно не сделать себе поблажку? И как часто, к примеру, упоминает тесто, которое выносит потихоньку с хлебозавода – всякий раз или, скажем, раз в месяц, оптом?

Баба заплакала и сказала, что я недобрый ребенок, а тесто ей разрешает брать заведующий производством. И уж кому-кому, утверждает Баба, а мне с моим легкомыслием в самом деле пора заводить тетрадку, пока моя нечистая совесть еще в состоянии оценивать проступки.

Как бы то ни было, я очень сомневаюсь, что Ты – демон, этого не может быть, у Тебя печальные, не злые глаза. Думаю, здесь нет никакого таинственного смысла, и Ты послан мне для того, чтобы я не чувствовала себя такой одинокой, хотя иной раз мне кажется, что Ты хочешь, чтобы я о Тебе рассказала. Я не знаю, как рассказать о Тебе, а главное – кому. И уже сомневаюсь, что не нарушаю вторую заповедь, потому что разговариваю с Тобой и советуюсь, даже когда не вижу, не говоря о том, что считаю Тебя своим лучшим другом. Больше грехов не помню, искренне о них сожалею, обещаю исправиться.

В следующий раз, если надумаешь присниться, скажи хотя бы, как Тебя зовут.

Я умер знойным июльским днем тысяча девятьсот сорок четвертого года, спустя девятнадцать с половиной лет после рождения. Это противоречит всякому здравому смыслу, ведь все последнее время мы двигались и двигались, почти безостановочно шли, продираясь по лесам, от деревни к деревне. Не было ни малейших сомнений, что победа близка как никогда. То, чего я так опасался с самого начала: ад фронта, снаряды и трупы, – вдруг стало обыденной картиной повседневности. Но что поделать, я научился принимать все как должное. Впрочем, я заранее не строил никаких иллюзий относительно испытаний, которые могли мне выпасть, и все-таки оказался приятно удивлен тем, на что способен. Природное отвращение к военному делу удалось превозмочь благодаря осознанию общей цели. В какой-то момент, во время больших маршей, усталость и боль в ногах превращают тебя в машину, которая механически несется только вперед, говоря объективно, уязвимую машину. Однако есть цель, и ты к этой цели стремишься в твердом убеждении, что ничто не покалечит и не уничтожит тебя.

Комары здесь назойливые, несмотря на жару, а вот места красивые, надо сказать, природа исполняет потрясающую роль перед лицом разворачивающейся на моих глазах трагедии, такой диссонанс, все это представляет немалый интерес для моих будущих заметок. Или прошлых. Или

А и Б сидели на трубе. Я читаю больше всех слов в минуту, будь кто-то другой таким проворным, его ставили бы в пример. Но нет подходящей похвалы для меня, мое скорочтение не приветствуется, исходя из рассуждений Класной, понимать смысл прочитанного гораздо важнее. Зачем в таком случае чтение на время, она не поясняет. А я, естественно, не спрашиваю, я никогда ничего у нее не спрашиваю, даже когда мне что-то непонятно. Ясно как белый день, что она считает меня весьма посредственной девочкой, возможно, самой глупой из живущих на земле, изо дня в день я ощущаю это физически, точно боль в горле при фарингите. Когда пронзительное, острое лезвие звонка с последнего урока выпускает наружу всех школьных бесов и дарует свободу мне, я неторопливо плетусь домой, размышляя над существующими для меня смыслами. Выводы неутешительные: смысл есть только в стихах, причем не во всех. Мир цифр с его таблицей умножения лишен смысла, бейся не бейся, мне не удастся его постичь. Цифры живут отдельной жизнью, как червячки знаков на аптекарских рецептах

или буквы еврейского алфавита – такие же непонятные символы, в которых, разумеется, есть система, но эта система не укладывается в моей голове. Иногда учительница остается со мной после уроков решать примеры, потому что сама я не справляюсь и вместо домашнего задания приношу пустые тетради в клеточку. Но и это бессмысленно. Не умеет делиться без остатка декларируемая ею уверенность, что на сей раз у меня получится, нужно только постараться, а моя извечная наивность, будто время, пожертвованное ею на объяснения, сблизит нас, лишь множит безнадежно неверные ответы, путает числа, не понимает правил, ни на что не годится. А упало, Б пропало. Сближения не получается. Что осталось на трубе?

Кто-то собирает марки или значки, обертки от шоколада или поздравительные открытки, я коллекционирую хорошие стихи, ведь это большая редкость. В обществе книголюбов бывают в основном многотомные издания классиков с золотыми вензелями на обложке. Наши мамы свято верят в то, что они необходимы, как соль, и в средней школе без них совершенно невозможно обойтись, оттого все валсарбские книжные полки выдержаны приблизительно в одной цветовой гамме переплетов и корешков. Нельзя сказать, что в обществе книголюбов совсем не бывает стихов, но их забирают себе важные работники. Более важные, чем моя мама.

Мне и раньше нравилось звучание совпадающих слов, лет с пяти я складывала их столбиком вместо цифр, но сейчас просто не могу остановиться, хожу и без конца что-то рифмую. Таня уверена, что стихи – это скучно, а правила из учебников понимать гораздо важнее. Легко ей говорить, если у нее в голове всего поровну. У многих людей, я заметила, мозг аккуратно разделен пополам. В одной половине лежит касса с буквами, в другой находится касса с цифрами. Так вот – у меня не находится. Мне при рождении достался двойной комплект букв.

Быстро и качественно отвлекаться от всяких печальных дум помогают слова-перевертыши, которые я тоже коллекционирую. Иногда слово, прочитанное наоборот, противоположно по значению основному слову, иногда дополняет его. Куртка – акт рук, кожа – ажок, дорога – агород, чемодан – надо меч.

Еще я, как и прежде, не оставляю попыток написать настоящее стихотворение сама, но не могу найти подходящую тему. Надо сказать, я и не подозревала, что это так сложно. Про природу все уже сказано, а влюбиться мне не в кого. Все девочки в нашем классе влюблены в Виталика: веснушчатого, курносого малого с вихрами на голове, чем-то смахивающего на знаменитого мультипликационного Рыжего, убившего дедушку лопатой. Не знаю, как им может всерьез нравиться некто подобный, умолчим о его имени. Этот Виталик уполномочен поздравлять и одаривать нас в красные дни календаря. Стоя возле учительского стола, он вручает каждому какую-нибудь ерунду вместо книжки, а потом целует в щеку. Целует девочек, разумеется. Восьмого марта он поцеловал всех, кроме меня. Я вышла за своим подарком, а он просто смотрел, деревянно улыбался и не целовал. В пьесах пишут о таком: немая сцена. Его будто пригвоздило, он лишь медленно моргал, как человек, который забыл текст и не знает, что теперь с этим делать, в то время как суфлер отлучился по нужде и подсказки ждать неоткуда. Честно говоря, мне было начхать на это его отступление от поздравительного этикета, не понимаю, что на меня нашло, но я тоже стояла, как истукан, и не уходила. Весь без исключения класс дружно рассмеялся, даже учительница, которая сидела за последней партой и часом ранее написала в моей праздничной характеристике: «Ленива, не вызывается отвечать, не общительна, не умеет дружить». Изрядно намучившись, Виталику пришлось капитулировать и инертно чмокнуть меня в щеку, чтобы я поскорее убралась восвояси.

– Ну и ну, Затычка проявила характер! – сказала Лариса, беспросветно глупая и чрезвычайно жестокая девочка, дочь директора, с которой лучше не связываться.

Стихи иногда печатают в валсарбской газете. Как правило, это скверные рифмы хореом, я перестала ими интересоваться, когда поняла, что могу написать не хуже.

Если постараюсь. Но окончательно потеряла покой и сон, встретив на страницах детского журнала настоящую поэзию и рассказ о двух сестрах, живших в начале столетия в Москве. Одна из них вела дневник и записывала события своей жизни в мельчайших подробностях, вторая писала эти самые стихи.

- Продолговатый и твердый овал, черного платья раструбы... - цитирую я Тане наизусть. - Юная бабушка! Кто целовал ваши надменные губы?

Таня говорит, что ей нравится. Знать бы только, что такое раструбы. И овал... О чем это? Если о лице, то почему он твердый, а не мягкий.

С Таней всегда так. Ей непременно все нужно подвергнуть сомнению. Говорю ей, к примеру: все, тарелка чистая, взгляни, она не блестит и не жирная совсем. Таня удивляется: как же она может быть чистой, если ты помыла ее холодной водой. Но вытерла-то я ее насухо, ни жира, ни липкости, ни одного микроба. И Таня недоверчиво смеется.

У Тани дома огромная библиотека и пианино. Сплошь предметы моего обожания. Когда она расправляется с грязной посудой, можно пойти наконец посмотреть книги или понажимать клавиши пианино. У меня всегда получается музыка, хоть я играю одним пальцем и без нот. Что касается книг, то, будь моя воля, я бы взобралась на табуретку и торчала на ней часами, жадно перелистывая страницы, но нужно держать себя в рамках приличия, поэтому я скромно жду, пока Таня сама предложит мне взглянуть на них. Книжных стеллажей много - целая комната от пола до потолка. Не считая полок в гостиной. Танина мама работает кем-то главным в обществе книголюбов. Стеллажи пестрят тканевыми корешками «Библиотеки всемирной литературы», собраниями сочинений классиков, современными детективами, альбомами о природе и энциклопедиями. В поисках стихов я алчно хватаю с полки одну книгу за другой, забывая о правилах хорошего тона, но каждая новая книга оказывается либо литературой Средневековья, либо Шекспиром, на худой конец пьесами каких-нибудь норвежцев. Все это так сложно, не для средних умов, как говорит моя мама.

- Ты нигде не встречала тут у себя стихи случайно?

Моя душа жаждет поэзии, нуждается во вдохновении и никуда не движется. Пушкин начал сочинять в семь лет, а мне уже восемь, и я до сих пор не написала ничего выдающегося.

Таня признается, что ей не очень нравится читать. Некогда, просто не хватает времени, так много дел.

Я удивляюсь: какие же дела летом?

Таня вздыхает и говорит, что я счастливая, если не знаю, сколько времени отнимает дача и все эти глупые огороды. Не то что читать - жить не успеваешь!

Мы находим волоокого Лермонтова, немного опухшего Апухтина, Некрасова с сизым носом, похожего на старообрядческого бога, и пышноусого Брюсова. Большинство этих книг мне известны, и я обещаю почитать Тане самые впечатляющие стихи. Благодаря им я начала увлекаться мифологией, в прошлом веке поэты обожали упоминать каких-нибудь античных героев и сюжеты древности.

Когда Таня протягивает мне русскую поэзию дооктябрьского периода, от волнения и нетерпения у меня дрожат руки. Пока я пролистываю горы чужих рифм, продираясь через совершенно новые, белоснежные, склеенные страницы, сердце мое стучит, как чокнутый заводной зайчик по барабану, а ведь я совсем необязательно найду нужного мне поэта. Но я нахожу.

Есть черный тополь, и в окне - свет, И звон на башне, и в руке - цвет, И шаг вот этот - никому - вслед, И тень вот эта, а меня - нет.

Мама кормит меня своими страхами, ахает, раня руки неострым ножом, роняет его, нож падает, она подает тарелку с гуляшом, жирно дрожит желе сала на каждом мясном куске, мама на грани истерики, я на волоске от крика, могущего облегчить ей жизнь, на старт, внимание, марш, держись! – и не вздумай высказаться о качестве продукта в тарелке, на вилке, в сковородке, не то быть беде, а вот если падает на пол со звоном предмет, столовый предмет, не какой-нибудь там просто так, то примета здесь верная, кто-то спешит, только важно вычислить род, скажем, ложка – она моя, нож – он мой, значит, папа торопится, папа спешит и вот-вот придет. Нагуляется и придет. Ну, во всяком случае, он в пути, можно даже не сомневаться и проглотить этот мамин страх, этот мамин немой упрек, это сало гуляшное вдоль тарелки и поперек.

Нужно быть дурочкой, чтобы признаться. Зачем интересоваться, спрашивается, ведь это личное, но взрослые в принципе вопиюще нечуткие. Почти все, за редким исключением.

Эта мамина подруга с черными, как ночь, глазами, от которой пахнет табаком сильнее, чем от папы с Дедом, вместе взятых, весьма неприятная особа, у нее тоже есть дочь, воображаю, как ей несладко, если мать и ее донимает подобными вопросами. Хотя нечто мне подсказывает, что у родной дочери она не решится спросить, да ей и незачем, она заглянет ей в душу своими цыганскими глазами, и готово, ответ на блюдечке, как мне повезло, что ни у кого в моем роду нет таких глаз, я смотрю на нее и не знаю, тварное ли она существо. Она и раньше задавала мне странные вопросы, всегда будто невзначай, будто к слову пришлось, например, почему я тыкаю Алиной маме, она моя тетя, но ведь она старше меня, тыкают только невоспитанные дети, нравится ли мне мое имя, потому что, если нет, мне стоит его поменять или придумать прозвище, быть может, у тебя уже есть прозвище в школе, всегда хватает остряков, быть может, и у тебя есть? – у меня есть, но лучше бы вам не знать какое, во веки веков, аминь. Очевидно, всякий раз, собираясь к нам в гости, эта мамина подруга готовит заранее свои коварные, беспринципные вопросы, вполне возможно, она даже не спит ночами, ей бы посылать их в интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?», потому что мне обычно не хватает минуты на размышление.

Когда я задумываюсь искренне и по-настоящему, мой ответ удивляет меня саму, но наедине с собой я влиять не привыкла. Значит, на первом месте Дед, я воображаю эти места в виде длинной цепочки, а не пьедестала, вроде нити и четок на ней, и Дед самая первая бусина. Вторая и третья бусины тоже принадлежат Деду. Он на первом, втором и третьем месте, у меня не получается его передвинуть. На четвертом месте Баба. На пятом неожиданно Алина бабушка Ханя. Немного странно, что так вышло, но если хорошенько подумать, то ничего удивительного: я часто у нее бываю, она всегда добра ко мне и обнимает совсем так, как если бы я была ее родной внучкой, а не двоюродной, или просто прижимает к себе, отчего становится очень спокойно. Баба Ханя всегда пребывает в хорошем настроении, словно не устает на работе или у нее никогда ничего не болит. Еще она никогда не отводит глаз, не избегает взгляда и ни при каких обстоятельствах не перестает улыбаться. Остальные мои родственники улыбаются редко, я не знаю, улыбаюсь ли я, наверное, нет, и, наверное, поэтому меня к ней тянет. На шестой и седьмой бусине папа и мама. Они кочуют с места на место, эти шесть-семь, шесть-семь, мама плачет, потому что папа не пришел домой – шесть, папа плачет, потому что любит маму, а она сердится – шесть, что же мне делать, дочушка, я так ее люблю, я и тебя люблю, но твою маму я люблю больше, шестьшестьшесть. Или семь.

Они никак не могут разобраться, любят ли они друг друга, любят ли они меня, а ведь они большие и взрослые, а эта мамина подруга стоит и ждет, что я отвечу: кого ты любишь больше, папа – маму больше, мама – неизвестно кого, она никогда не говорит, я – известно кого, но смешно, если эта женщина думает, что я ей признаюсь. Если не знаешь, смеется она, нужно говорить: всех одинаково. Всех одинаково я люблю там, в конце четок, где бусины складываются в длинный

жемчужный хвост из маминой мамы и маленькой Али, Владика и бабы Геновефы, тети и среднего брата, который смешно картавит.

Бусы с мягким шелестом утекают в лаковую шкатулку, трррррак, крышка шкатулки падает, вздыхает, подавившись содержимым, первые три бусины высовываются и показывают язык, я быстро подталкиваю их внутрь, захлопываю шкатулку и убегаю с бьющимся сердцем, держа ее за пазухой.

За моей спиной громко смеется женщина с черными глазами, у нее не было оснований полагать, что я отвечу, но она не признает своего поражения и теперь предлагает маме разрешить очередной вопрос своей викторины: почему она у тебя такая дикая?

Правильный ответ: сама ты дикая, – но мама улыбается, наливает ей чай и меняет тему разговора.

Мы бежим из нашего дома.

Папа при любой возможности, а я потихоньку. Думаю, мама тоже охотно убежала бы куда-нибудь. Но Валсарб не ее родной город, близких, кроме нас, у нее здесь нет, и бежать ей некуда. А просто бродяжничать – такое ей и в голову не придет. Поэтому с тех пор, как нам провели телефон, она бежит только к нему и беседам с подружками, которых у нее несть числа, как говорил многострадальный Иов. У мамы очень хорошо получается дружить. И у папы тоже. Только я не умею.

Он бежит, потому что все еще не нагулялся, говорит мама кому-то по телефону. Вечный мальчик, он бежит от обязательств, говорит мама, он бежит от отсутствия обязательств, говорит мама, никакой ответственности.

Удивительно, папа много работает, ездит на больших грузовых машинах, ремонтирует их, когда они сбоят, и при этом совсем не устает, не бежит домой отдохнуть, а бежит из дома – гулять. Иногда он задерживается в командировках. Иногда я забываю, какого цвета у него глаза.

Мне совсем не нравится гулять, на улице всегда слишком, зимой слишком холодно, летом слишком жарко, но меня гонит страх, и я бегу из нашего дома. Бегу, хотя это запрещено. После школы – сразу домой. Нельзя выходить за пределы двора. Нельзя бродить по улицам одной. Нельзя гулять и лучше вовсе не выходить на улицу.

Нельзя выходить на улицу и невыносимо оставаться дома. Лучше идти куда глаза глядят сразу на выходе из школы, поклоняться где-нибудь неподалеку, чтобы успеть до маминого возвращения усесться за письменный стол и сделать вид, что уже давно дома, как обычно, обед не разогрела, просто не хотела есть и хорошо кормили в столовой, умолчать о двойке по математике и украденной кем-то из портфеля книжке, закрыться в комнате и писать стихи или читать стихи, все равно мама не интересуется – стихи я читаю или природоведение.

Хуже всего, если идет сильный дождь, нет возможности нигде задержаться, а до возвращения родителей больше четырех часов. Тогда нужно быстро открыть входную дверь, все бросить и нестись прямым ходом на кухню. Там спрятаться в угол за холодильником и расплести косы, чтобы, подобно Самсону, обрести сверхъестественную силу и отвагу. Забраться с ногами на тумбочку за холодильником и смотреть в окно, не шелохнувшись, в ожидании родителей, хотя если папа возвращается, то поздно и не всегда с этой стороны дома.

Главное, не думать о девушке, которая сидит на диване в зале, и людях, которые появляются в моей комнате. Они – я называю их просто Они – возникают в ненастную погоду, получается часто, ведь окна моей комнаты, к сожалению, всегда выходят в дождь, а девушка в зале сидит постоянно и исчезает только с приходом родителей. Ей хочется поговорить со мной, в этом нет сомнений,

но пока я не в состоянии пересилить страх, войти в зал и выслушать ее. Наверное, моим волосам еще не сравниться с Самсоновыми.

Пока сидишь, можно тихонечко напевать что-нибудь, Им не нравятся песни, а зайдя в детскую после того, как у порога раздастся цок-цок маминых каблучков, шшш-тах! открываемого на просушку зонтика и зу-у-ум застежек-молний, можно обнаружить разбросанную по полу пирамиду из подушек, скрупулезно создаваемую каждое утро, или оборванную нить с беспомощно свисающим с потолка вьющимся цветком в зале. Только когда сидишь и напеваешь, пристально вглядываясь в окно, не приведи бог, чтобы приспичило в уборную.

Не ясно, умеет ли девушка перемещаться и насколько высока вероятность того, что она не сможет загнать меня в угол. В буквальном смысле этого слова. Несколько раз она врывается в мои сны. У нее было испачкано лицо, в ладонях – пригоршни земли, она повторяла: «Я – сон, я – сон», потом поворачивалась и уходила, вынуждая меня следовать за ней, я не могла сопротивляться, ни разу не вышло, чтобы моя взяла, и я иду, как пришитая, не разбирая пути, и сбежать нельзя. Мама ловит меня среди ночи, открывающую слишком трудный для моих рук замок, легонько касается предплечья, стараясь не впустить в меня свой испуг, я долго смотрю в пустоту стеклянными глазами, а после позволяю отвести себя в постель.

ясонясонясонясонясоня

У Люськи странные отношения с родителями. Они ее постоянно обнимают и чуть что целуют. Даже ее папа, если она просто проходит мимо, с улыбкой треплет ее по голове, не говоря уже о маме. У Люськи есть еще две старшие сестры, не знаю, относятся ли родители к ним так же, но мои родители меня никогда не обнимают и не целуют. Папу я вижу редко, а мама утром говорит: «Вставай в школу», а вечером спрашивает: «Разве ты уже сделала домашнее задание?» – и уходит готовить гуляш, или болтать с соседкой, или звонить по телефону. Мои родители слишком заняты, им некогда трепать меня по голове, чаще всего они замечают мою голову, если ее нужно красиво причесать в школу или если на каникулах в ней завелись вши. В остальное время они задумчиво смотрят в одну точку, словно решают сложный ребус. А лучше бы поверяли мне свои дни и заботы, я бы их понимала. Но они даже молчат не вместе со мной, а отдельно. Когда папа «где-то пьянствует», мама ходит печальная или сидит как на иголках, опасаясь, что с ним может что-нибудь случиться. Когда папа возвращается, он поглощен заверениями, что теперь-то уж точно завязал, больше ни-ни, ни капли, вот увидишь. Когда он обещает, я верю тому, что он обещает.

Люськин папа тоже пьянствует, иногда даже прямо на кухне за столом, но он никуда не уходит, поэтому и беспокойств не доставляет. Повезло, ведь сидеть как на иголках очень утомительно. Немудрено, что моя мама выжата как лимон. Иногда мне хочется пожалеть ее, но, боюсь, она рассердится. Сердиться можно, быть несправедливой нельзя. Как бы то ни было, я и сама не могу ни о чем рассказать ей, стоит ли посвящать человека в то, что ему неинтересно? К тому же, кажется, маме не нравится обниматься и целоваться. Думаю, мне тоже не нравится. Но это не точно.

Мы с Люськой завели дневник, настоящий дневник, который здорово будет перечитать в следующем году или лет через сто, хотя я не намерена жить так долго. Общей тетради не нашлось, зато альбом оказался очень кстати, нужен он, разумеется, для рисования, но рисую я все еще неважно, а Люська и того хуже, не думаю, что за время каникул в нас сможет пробудиться художественный талант.

Оказывается, вести дневник не так-то просто, особенно если ничего не происходит. Я написала дату, обвела ее волнистыми линиями со всех сторон, вышло неплохо.

Потом позвонила Люське и спросила, что у нее нового. У нее тоже ничего пока не произошло, она только начинала завтракать, поэтому мы договорились, что если случится что-нибудь грандиозное, то она позвонит мне, а если нет, то мы встретимся через час во дворе.

Люська не позвонила и на улицу не вышла. Я пошла к ней сама и застала ее в состоянии крайней беспомощности.

- Понимаешь, съесть это я не могу, а выбросить - не позволяет совесть, - сказала она.

Поясню для Тебя. Видишь ли, во время летних каникул родители зачастую совершенно перестают интересоваться своими детьми. Потому что дети летом отдыхают, а бланки строгой отчетности, заседания в исполкоме, колхозные отработки и долгие совещания родителей никуда не деваются. И отпуск тоже не всегда совпадает с летом. И вообще, вот подрастешь - поймешь, как нелегко зарабатывать деньги и успевать приготовить ужин на сегодня и обед на завтра, я уже в шесть лет ждала маму с подносом, а ты такая большая и не можешь даже себя накормить, ну, конечно, газ включать нельзя, я запрещаю, спички детям не игрушка, ты еще маленькая.

Но Люськины родители, видимо, заинтересованы если не в ней, то в правильном Люськином питании. Мама у Люськи полная, цветущая, как георгина, а Люська тощая, бледная, с голубоватой, точно у недавно ощипанной курицы, кожей, одни глаза да конопушки размером с пшено по всему лицу.

В кухне на столе стояла огромная эмалированная миска с тертой морковкой. Морковки было килограмма два, а может, и больше. Кто-то щедро и заботливо посыпал ее сахаром.

Люська надула губы и со слезами на глазах села на табуретку.

- Это витамин А, понимаешь? В газете написали, что витамин А необходим для правильного развития ребенка. А я терпеть не могу морковку. Ты видишь, какого она цвета?

Обыкновенного, говорю, оранжевого.

Тут она как зарыдает.

- Оранжевого! Такого же, как я! Я и без нее рыжая! Что, если мои веснушки станут от морковки еще заметнее?

Мне нравится морковка. Я вообще люблю есть почти все, кроме вареной капусты. Хочешь, говорю, я тебе помогу?

Люська вдруг сделалась такой счастливой! Она никак не могла поверить, что кто-то может искренне любить морковь и бескорыстно ее съесть.

Потом мы пошли и записали в дневнике, какая на улице погода (светит солнце) и как мы чудесно играли в резиночку на улице (даже не начинали). Я добавила от себя, что через двадцать четыре дня у меня будет день рождения, а Люська больше ничего не дописывала и попросила оставить дневник у нее.

Я согласилась, хотя собиралась написать о Тебе. Наверное, это и к лучшему, что не написала. Пришлось бы долго объяснять Люське, что к чему. Не уверена, что она поняла бы. Еще я подумываю о том, чтобы привести ее к Тебе. Но пока тоже не знаю, хорошая ли это идея. Может, лучше Таню? К тому же мне строго-настрого запрещено уходить со двора, мама возвращается с работы в семнадцать часов на рейсовом автобусе, я постараюсь попасть к Тебе как-нибудь в первой половине дня. Это очень рискованно, вдруг меня увидит здесь кто-то из знакомых и донесет, что я шатаюсь по Валсарбу одна, вместо того чтобы учиться рисовать или учиться готовить, допустим, и встречать родителей с подносом. Впрочем, в мире море

людей, и они чаще всего меня не замечают. Случайно или преднамеренно – я пока не разобралась. Если не зачатят дожди, я буду к Тебе приходить хоть каждый день.

Магазин открыли, говорит мама, сходи на экскурсию, заодно сметану купи.

Пол-литровая банка, синие пять рублей, холщовая сумка.

Странно, но мне не хочется идти, даже не любопытно совсем. Магазин – это целое событие, значит, там будет много народа, сутолока и чужие взгляды.

– Новую Юдовку открыли! – кричит из окна Люськина мама.

Непонятно, кому кричит: кому-то лично или всем сразу. Люськи, во всяком случае, не видно. С ней я бы охотнее пошла.

На старой Юдовке (за домом направо, вверх через сараи), говорят, останутся только овощи и, может быть, хлеб, но точно не молочные продукты. Сметана будет на новой Юдовке.

Баба говорила, что в нашем районе раньше жили евреи – юде. Думаю, слово Юдовка как-то связано с давкой, с тем, что евреев подавляли. Она обещала рассказать подробнее, но, кажется, мы обе об этом забыли. Забывать важное – главное достижение моей жизни.

На экскурсию идут в основном женщины, убедиться, что слухи верны и магазин действительно открыли. Любопытнее оглядываясь по сторонам, они спешат оценить новое место для сплетен и дискуссий. Мужчин мало, детей нет совсем. Здание длинное, как мавзолей, из белого и рыжего кирпича, ступени высокие, окна большие. Пока не шагнул в неведомое, можно вообразить внутри хрустальные люстры и гипсовую лепнину на потолке. Или зеркальные стены, статуи и колонны. Воображать мне нравится больше, чем жить в реальности, а думать у меня получается лучше, чем облекать мысли в слова. Открывая дверь, неизменно убиваешь возможность формы и пространства быть всем, чем угодно. Но сколько ни сочиняй, внутри предсказуемо мрачно и неудобно. Никаких сюрпризов. Никакого торжественного настроения. Стеллажи ютятся у стен, загороженные тумбами прилавков, товар можно купить только на вес. Бакалея недоступна. Даже лимонад нельзя взять самостоятельно. Это вызывает недоумение.

Любопытные покупатели жмутся к стеклу прилавков и друг к другу гигантской гусеницей, громко разговаривают, поглядывают на часы, покачивают авоськами, трутся ими о чужие ноги. По каменной мозаике пола суетливо пляшут вечерние тени, все какое-то не всамделишное, будто на фото пленке. Вылинявшее под солнцем и изнуренное духотой. Я решаюсь покончить с созерцанием и занять место в хвосте самой длинной очереди, во главе которой стоит тетя Зина из второго подъезда. Она кудрявая, деятельная, обычно дымит как паровоз, так что у нее даже кожа коричневая от папирос. Тетя Зина не блещет красотой, зато в ней много личного обаяния. Однажды она покрасила свои кудри пергидролем и уснула, поэтому потом ей еще долго нечего было красить. Тетя Зина называет меня «воплощением своей нереализованной мечты о дочери» и как-то передарила мне красивый картонный кукольный дом своей племянницы, которая выросла из игрушек. У тети Зины есть взрослый сын, тоже кудрявый, но светловолосый без пергидроля, еще есть кожаный диван, дубовый стол, старенький пекинес со слезящимися глазами и такие же старенькие родители. Ее папа живет в большом кресле-качалке перед телевизором, а мама, когда я прихожу, угощает меня леденцами из жестяной коробки. А прихожу я всегда, когда тетя Зина зовет. Неудобно отказываться. Что ни говори, а приятно быть воплощением чьей-то мечты.

Очередь не продвигается ни на шаг, взмыленный дядька в белой кепке говорит: ай, иди ты! Иди ты со своими ирисками, липнут к зубам, как черт знает что, одно

мучение, кажется, у нас еще песок закончился. Ты столько песка кладешь, потому и толстый такой. А конфеты что, с твоими ирисками без зубов останешься, поди-ка глянь лучше, есть ли масло. Только маргарин, я уже смотрела, возьми того печенья, как оно называется. Есть у нас еще печенье. А завтра ты скажешь, что нет, лучше купить сегодня, чтобы завтра не говорил. Взять тебе «Коровки»?

На прилавке много конфет, но я не вижу их названий. В ушах поднимается неприятный звон, какой дорогой зефир, а эти карамельки мятные, я не люблю мятные. Хорошо бы присесть. Женщина, это сладость диабетическая, она совсем не сладкая, если вы хотите повкуснее, возьмите зефир. Иногда входная дверь открывается, хочется, чтобы на экскурсию зашел кто-нибудь знакомый, но на пороге возникают в основном бойкие бабушки. Хорошо бы присесть. Тогда спросим, какая там начинка, знаешь, раньше такая была, смотри, научились делать фантики, брат из Динабурга говорит, вот и вкусные у вас конфеты, но упаковка, халва, смотри, какая красивая, ей дурно, смотри, какая, она падает, девочка? Девочка?

Картинка расплывается, тетя Зина, мгновенно покинув первые ряды, окликает меня, похлопывает по щеке и приговаривает, источая едкий табачный запах:

– Опusti голову... Посмотри вниз... Получше? Погоди, не падай. Тебе нужно присесть.

Растерянno и нервно оглядывая пустой просторный центр магазина, она убеждается, что примоститься негде.

– Что тебе нужно купить? Я куплю. Ступай домой.

– Сметану. Я сама.

– Да ты на ногах не стоишь, так здесь душно! А сметана продается не здесь, детка ты моя. Во-о-он там продается сметана. Столько времени зря простояла в кондитерский отдел!

Она выводит меня на улицу, распахивая одну за другой тяжелые двери, и я вдруг осознаю свою уязвимость. Меня штормит, но легкий пыльный ветерок уже спешит на помощь, помогает перевести дыхание, возвращает резкость и очертания предметам. Лестница кажется бесконечной.

– Магазин построили, а присесть негде, чтоб им пусто было! – в сердцах говорит тетя Зина, усаживает меня на верхней ступеньке, забирает авоську и мои пять рублей. – Возвращайся домой, когда станет лучше.

Я сижу на ступеньках новой Юдовки, разглядывая золотые отражения догорающего солнца в окнах лысых двухэтажек, вчерашнюю невысохшую лужу с мутной водой, людей, поднимающихся по лестнице и одаривающих меня нарочито равнодушными взглядами. Сижу и понимаю, что не вернусь домой так, без сметаны, потому что не знаю, как объяснить это маме.

– Пробы Манту делать не будут, слышала? Медсестра сказала, будет кое-что другое.

Я молчу, и она, не дождавшись реакции, пылая от нетерпения и возбуждения, продолжает:

– Сегодня будут отрезать головы. Чтобы посмотреть, как устроены наши мозги...

Я смотрю в ее глаза, сияющие лихорадочным блеском, и не могу определить, правду она говорит или врет.

– ...потом, правда, пришьют обратно. Все головы. Все-все головы, ты не беспокойся.

А Манту точно не будет.

– Как же они пришьют их обратно? – Скоро звонок, мне велено стереть с доски, а вместо этого я слушаю Лину, разинув рот. Тряпка чудовищно грязная, неприятно пахнет влажным мелом, центр доски весь изрисован вазочками, горшочками, кувшинчиками и другими образцами посуды для цветов, которые мы учились изображать на уроке.

– Ты не беспокойся, пришьют, медсестра сказала, что сначала отрежут, а потом пришьют как положено.

Я полощу тряпку и, пока с нее стекает белая вода, задумываюсь о том, что у человека внутри головы. А внутри шеи? Наверное, там какие-то толстые нити, а может, и тоненькие, невозможно отрезать их и пришить заново. Причем всему классу.

– Я тебе не верю, – говорю я, усердно лишая цветочные сосуды формы и содержания и отправляя их в небытие.

– Как хочешь, я только хотела тебя предупредить. Ты же боишься проб? Так вот, их не будет.

Я тебе не верю.

На моей первой парте для близоруких еще лежат краски и альбом. Еще стоит стакан с разноцветной гуашной водой. Она сверху синяя, снизу зеленая, цветы не успели раствориться в стеблях. Я не успеваю увернуться, по моей белой футболке текут гуашевые реки однородного муренового цвета, с подола форменной юбки капает на стул, на туфли, на пол, что это такое?

– Что это такое? На кого ты похожа?

Классная руководительница смотрит на меня сверху вниз с отвращением и изумленной улыбкой на надменных губах.

– Это Лина. Это сделала Лина.

Учительница смотрит в сторону девочек, которые с невозмутимым спокойствием прячут Лину за своими спинами, я жду, что Классная окликнет ее, сделает замечание и заставит извиниться.

– Значит, ты сама виновата, – говорит Классная.

Какое-то время я думаю, что у меня что-то со слухом. Что-то произошло, и уши стали неверно слышать. Нужно отрезать голову и проверить, все ли с ними в порядке.

– Ты сама виновата. Лина толкнула тебя нечаянно, не так ли? Проанализируй почему. Нужно было сразу вылить воду, а не держать ее на столе, верно? Запомни это. И впредь... не будь такой рассеянной.

Плакать хочется так сильно, что, кажется, проще умереть, чем сдержаться. Но, к счастью, звенит звонок на урок, все теряют интерес ко мне, а я к многострадальной футболке, пора идти в сестринский кабинет на пробы Манту.

Дома я пытаюсь застирать футболку, но гуашь въелась сильнее, чем казалось на первый взгляд. Я не знаю, что сказать маме, чтобы не услышать: «Значит, ты сама виновата», – мама всегда на стороне учительницы, и просто оставляю футболку в ванной.

Этой ночью мне снится молодой парень, который живет в сквере возле памятника. У его ног лежат отрезанные человеческие головы, а по их лицам течет сине-зеленая краска.

Этой ночью я впервые писаю в постель.

Я умер знойным июльским днем тысяча девятьсот сорок четвертого года, спустя девятнадцать с половиной лет после рождения. Всю последнюю неделю мы пробирались от деревни к деревне, в основном лесами. Пейзажи попадались впечатляющие, как ни странно, этим тоже можно развлечь себя. Временами меня посещали талантливые мысли. Даже превосходные. Я мог бы их прочесть тебе, но они потерялись. Обидно, конечно.

Что я помню... Я никогда не был безалаберным, вот что. Именно поэтому однажды все обязано было сложиться в мою пользу, понимаешь, мне должна была улыбнуться удача. Я так верил в свою судьбу...

Что я хотел еще сказать... Вероятно, я уже упоминал, что мошкара чудовищно отравляла жизнь, особенно назойливая в болотистой местности. А столько звезд я нигде и никогда не видел, даже в Ташкенте. Привалы случались, однако чрезвычайно короткие, не до любования звездами, когда необходимо продвигаться вперед. А вот сейчас у меня уйма времени, я постоянно смотрю на них. Я мог бы написать поэму о звездах. Я мог бы вернуться домой. Если бы моя звезда вынесла меня невредимым. Вообще говоря, я до сих пор на что-то надеюсь. Неужели нет никакой возможности? – вот что терзает и лишает меня покоя.

заварить чай какой-нибудь успокоительный, где сейчас взять липу, я переживаю, нет, я с ней не разговаривала

...а сейчас прослушайте последние...

что я ей скажу, она ребенок еще глупый, конечно, жалею, но если сама захочет, то сама и расскажет, ой ну

...в Ватикане состоялась встреча...

себя в восемь лет вспомни, вспомни, что она понимает

...ЦК КПСС Михаила Горбачева...

в поликлинику не пойдешь, нужна бабка такая шептунья, воды мне принесут святой, но

...Иоанном Павлом Вторым...

заговаривают такое, я знаю, мне рассказывали у одних

...глав советского и российского государства с главой католической церкви...

потом эту водичку пьют, и помогает

...по установлению официальных отношений...

в какой-то деревне

...между Советским Союзом и Ватиканом...

куда угодно поедет, конечно, не спрашивала учительницу, что я ей скажу

...астрофизическая обсерватория «Гранат»...

уже три раза, клеенку подстилаем, иногда и клеенка пропускает, чего так могла испугаться, запустила

...ракетой-носителем «Протон»...

воображение развито, я тоже была одна

...обращения вокруг Земли четыре дня...

и ничего, и отец пил по-черному, но я самостоятельная была, не то что

...Социалистическая единая партия Германии переименовала...

почему одиноко, в классе много детей, не знаю, но нет, не думаю, она бы сказала, я в ее возрасте

...на должность председателя избран...

недочего она, нет, я не стану спрашивать, сделаю вид, что все нормально, чтобы она не решила, что это что-то плохое, отвезем ее снять этот сглаз

...температура ноль минус два...

какую кошечку, я не люблю котов, ты знаешь, какой за собакой уход нужен, кто будет ухаживать? Может, ей и одиноко, но на собаку я не решусь, нет, нет, нет, да, да, недавно? Неделю назад? А как за ним ухаживать? Пойду спрошу, хочет ли она хомячка

С тех пор как мы познакомились с Тобой, ко мне без приглашения является прорва бывших людей, такое чувство, что в моей комнате у них пансионат, не говоря уже о снах – там вообще проходной двор. А мама спросила, не хочу ли я завести хомячка, чтобы мне не было одиноко, когда я прихожу из школы. Знала бы она, сколько здесь народу. Я согласилась, хотя боюсь всяких мышей и грызунов, согласилась не для того, чтобы порадовать маму и тетю Олю, которая посоветовала по телефону найти для меня питомца (мама думала, что я слушаю не их, а только новости), а потому что нас с хомячком будет двое. Двое против Них. Главное, еще самой подружиться с этим хомячком.

Еще мама сказала тете Оле, что я – совсем глупая, но быть умной нелегко, когда тебя заранее такой не считают, не слушают, почти не разговаривают, а оставляют познавать мир вслепую. Сказала, что я ничего не понимаю, не знаю, почему писаюсь, не смогу объяснить и спрашивать меня ни к чему. Я тоже ни у кого ничего не спрашиваю, если мне неловко. Теперь мама перестала интересоваться даже тем, как обстоят дела в школе. Но, может быть, ей достаточно жалоб в мой адрес на родительских собраниях? А завуч сегодня, когда пришла взглянуть, как мы переходим на письмо в широкую линейку, сказала, что у меня лучший почерк в классе. Жалуются ли Классная маме на мою математику? Обращается ли к родителям тех учеников, которые ей не нравятся, с таким выражением лица, будто видит перед собой раздавленную лягушку? Наверное, мама решила бы, что я – врушка, расскажи я ей правду. И сочла бы, что Ты тоже вымышленный. Хотя я сама не понимаю, какой Ты. И какую придумать неправду, не знаю тоже.

Сегодня в школьной уборной, когда дверь моей кабинки случайно распахнулась, я видела, как у одной старшеклассницы из трусов капала кровь, прямо на пол. Она сунула в трусы много-много каких-то бинтов и стремительно выбежала, заметив меня. Рассказать мне об этом некому и некого спросить, что это за болезнь такая может быть. Я собираю их названия, потому что часто болела в саду. Одно время я даже хотела стать врачом, но потом передумала, – все-таки тыкать шприцем с иглой в живого человека совершенно не вдохновляющее занятие. Нельзя посвятить жизнь строению внутренних органов, морщась от брезгливости.

А Эвтерпа молчит. Сейчас не до стихов, нам задано сочинение на мифическую тему «Кем я хочу стать?». Если бы я честно призналась, меня выставили бы на посмешище перед всем классом. Поэтому по поводу этой мечты я нема,

как Русалочка. Ты тоже нем и все-таки говоришь со мной. Я спрашиваю: «Кто я?» Ты отвечаешь: «Ты – то, что тебе снится».

– Вместе с хомяком в кухне поселился домовый, – сказала мама кому-то по телефону. – Да, прям в противоположном углу, у меня там тапки за шкафчиком стоят... Ну и они выкатываются теперь регулярно. Нет... Нет... Никогда раньше не выкатывались сами. Веник поставить? Вверх или вниз ручкой?

С хомяком мы не подружились, он оказался скучным и глупым. Наверное, моя Классная права: я неправильная и ни с кем не умею дружить. Мама предложила придумать хомяку имя, но у меня отказало воображение, оказывается, я совершенно не представляю, как их обычно зовут, поэтому решила назвать хомяка просто Хомяк. Друга не держат в клетке, друга полагается держать за руку. Или на руках. Мне не хочется держать Хомяка на руках, хотя он и не против. Кажется, грызуны не те животные, которые способны привести меня в восторг. Но что поделаешь, это мамин подарок. Я выпускаю его гулять в зале, там все же меньше народу, но он заметно нервничает в открытом пространстве и предпочитает неподвижно сидеть, притаившись, под диваном. Впрочем, чаще всего я о нем забываю, особенно если он не подает признаков жизни в своей клетке, в которой убираться, к слову сказать, я тоже забываю, что очень не нравится маме.

– Ленточку повязать? Прямо на метлу? Зачем домовому ленточка? – спросила мама у кого-то по телефону.

Кое с кем Хомяк нашел общий язык, это точно. С одним из тех, кто прячется по углам, кого мама принимает за домового. Ему нравится Хомяк, и он балуется, выкатывая таз из-за шкафчика. Раньше он жил в детской, этот мальчик, а сейчас он перебрался поближе к Хомяку, вот кто его настоящий друг. Больше у меня нет пристанища у окна в кухне, эти домовые заполонили весь дом, не считая уборной, ванной и прихожей.

– Баба, а домовые существуют?

– Нет.

– А в сказках?

– В сказках бывают.

– А в жизни точно не существуют?

– Или Бог, или домовые. Каждому по вере его. Домовые – это суеверие. Для тех, кто верит в Бога.

– А духи? Духи существуют?

– Хм...

– Если есть Дух Святой, то должны быть и несвятые духи, может, они селятся в домах, как домовые, может...

– Ну ты и фантазерка!

– Но я их вижу, понимаешь? Они как люди, совсем как люди, только печальные, никогда не улыбаются, и глаза у них холодные.

– Можешь записать эту сказку, вырастешь, будет интересно перечитать. Твой папа тоже в детстве всякие истории выдумывал.

– Это не сказка, они живут в доме.

– В каком?

- В нашем доме, то есть в нашей квартире.
- А здесь не живут?
- Здесь у тебя в каждом углу Бог. Одних Божьих Матерей три штуки...
- О, Свента Мария!..
- А души? Души бывают?
- Ну конечно! У всех людей есть душа. И у тебя.
- А отдельные души, без тела, они могут потом в квартире жить?
- Нет. Души без тела попадают к Богу. Он определяет, куда они попадут: в Рай, в Ад или в Чистилище.
- Что еще за Чистилище такое?
- Место, где ты можешь искупить свои грехи, если они были... незначительные. Не смертные, значит. Где ты можешь очиститься для жизни вечной. Такой шанс дается нам, грешным...
- Получается, душа не переселяется в другое тело?
- У души одно тело. После смерти ее ждет Страшный суд. Когда наступит Конец Света, душа встанет из могилы в своем бывшем воплощении, возьмет крест свой и пойдет, дабы предстать перед Богом.
- А далеко идти надо?
- К землям Израильским.
- А сколько это километров от нас?
- Матка Боска, детка, я не знаю...
- А крест где взять, если у всех памятники? Как его тащить, такой тяжелый, к землям Израильским?!
- У каждого человека есть свой крест. И он его несет. Так говорится. И у нас, когда мы восстанем из мертвых, тоже появится крест...
- А те, кто утонул далеко в море, чьих тел не нашли?
- Они тоже восстанут. Не переживай. У Пана Бога каждая душа на счету.
- Как бы это мне так поближе к тебе быть во время Конца Света, чтоб ты мне подсказывала, что нужно делать... Я ведь обязательно что-нибудь напутаю. Но, может быть, нельзя будет совещаться и подсказывать, как ты думаешь? Мне кажется, я непременно начну пререкаться с Паном Богом и этим все испорчу. У меня к нему столько вопросов накопилось, и самый главный – это: как можно кого-то бояться и любить одновременно?.. Знаешь, я почти уверена, что доживу до Конца Света. Не представляю, что мне придется умирать. Интересно, откуда крест возьмется у живых в таком случае? А совсем маленькие детки, меньше меня, им кто-нибудь поможет крест тащить до земель Израильских?..

Я хотела девочку. Хотела помощницу. Многие уважаемые люди приходили в нашу едальню и хвалили мою стряпню. С девочкой сподручнее обустроить столовую и вести хозяйство. Мой мечтатель-сын хорош только для ловли рыбы, но на то он и мальчик. Зато он прилично знает Тору и неплохо учится. Но я хотела еще и девочку. Нет большего счастья для матери, чем ее дети.

Насколько все скверно, обнаружилось в тот день, когда Ривка рассказала, что тела пропавшей дантистки и ее дочери нашли на окраине города. Если не щадят таких известных людей, для нас все кончено. Это первое, о чем я подумала. И теперь только об этом и думаю. Иногда сажусь и плачу, просто плачу и не могу остановиться, пока кормлю мою девочку, пока пою ей колыбельную. Слезы иссушили мое лицо, а я и так подурнела после родов. Я почти нигде не бываю, мне страшно и не с кем оставить малышку, а Моше говорит, будто бы вышло какое-то постановление и в кратчайшие сроки все улицы, примыкающие к горе, и нашу тоже, велено сделать отдельным поселением. Точно мы прокаженные. Говорит, что выпускать в город не будут и даже просто ходить по улицам отныне запрещено. Нам. Но чем мы провинились? Чем провинились я и моя девочка? Мой сын, мой муж, и Ривка, и остальные?

Чего бы мне хотелось, так это чтобы все закончилось поскорее.

Вернуться к прежней жизни, если это возможно. Это невозможно, ты думаешь, это невозможно? Пропало слишком много народу с нашей улицы, твоя правда, как прежде уже не получится. Мне страшно, чувствуешь, как мне страшно однажды исчезнуть, пропасть бесследно, что будет с моими детьми без меня, ты знаешь, что будет с моими детьми?

А муж говорит, что, если появится хоть малейший шанс пробраться в деревню, за него нужно ухватиться. Но ведь этот шанс может и погубить нас. Он готовится, я знаю, хоть и делаю вид, что ничего не замечаю. Он готовится бежать, именно поэтому он так молчалив, подбирает слова для меня, как платье. Каждый день я не досчитываюсь столовых приборов. Он выносит их потихоньку, по одному, обменивает на соль. Будто от килограмма соли, который он припас, зависит исход побега. Будто соль – это единственное, что нужно для поддержания жизни. Будто ему удастся перенестись в деревню вместе с этим домом. Будто он надеется забрать что-то, кроме нас. Будто он надеется.

День с самого утра не задался, я без своей первой парты чувствовала себя как пыль, лишенная исторической памяти, где-то в Колизее или на Красной площади, и, беспомощно озираясь в незнакомом кабинете, в центре среднего ряда парт, думала, как было бы здорово, если бы ко мне кто-нибудь подсел, неважно кто, только бы не остаться одной посреди этого обитаемого острова, но никто, разумеется, не подсел, все интуитивно заняли места впереди, подальше от задних рядов, я и ахнуть не успела.

То, что теперь неотвратимо надвигается, точно штормовая буря, называется открытый урок, представитель района и наши родители, преимущественно в лице мам, сидят сзади на приставных стульчиках, ученики жмутся поближе к доске и входным дверям, словно опасаясь, что их может смыть волной недовольства, совершенно непонятно, к чему было менять кабинет. Здесь симпатичные бирюзовые шторы и довольно много цветов на подоконниках. Наша Классная не любит цветы, рядом с ней все приходит в упадок и вянет. А может, поскольку этот кабинет находится на первом этаже, не желая устраивать вечную сутолоку на лестнице, решили, что. Как бы то ни было, я сижу одна, в центре, сама не своя от волнения, где-то поблизости моя мама, однако весь этот кабинет со всеми незнакомыми людьми представляет угрозу, с незнакомыми людьми и с мамой, которая тоже, по сути, не очень знакома здесь и сейчас, думаю, мы обе одновременно находимся в плоскости одобрения или неодобрения окружающих, поэтому не знаю, кого я опасуюсь больше. В углу сидит человек, похожий на глагол, скорее всего, представитель, но с виду довольно безобидный.

У Классной звенит голос, и она безотчетно поправляет прическу, однако заметно нервничает только в первые минуты, потом отпускает себя и принимается ходить между рядами, хотя обычно сидит за столом весь урок. Время от времени она поглядывает на родителей и ораторствует, будто царица Савская, пред Соломоном прорицавшая, вызывая и опрашивая только тех, в ком уверена. Впрочем,

напряжение в воздухе лишь нарастает, ведь Классная заранее предупредила, что проявить себя в какой-то степени придется каждому, причем обязательно. Для представителя района или для наших мам – она не уточнила, и, должно быть, именно поэтому все заняли не свои места и теперь непривычно взвинчены в атмосфере тягостного ожидания.

Но в конце концов все оказывается довольно предсказуемо и просто, правда, поди разберись, что учителям взбредет в голову.

Ребята, я буду называть слово, каждому по порядку, начнем с первого ряда, с тебя, Тоня, я буду называть слово по-белорусски, а вы – давать его перевод, понятно, ребята? Слово, а вы – как это будет по-русски, пожалуйста: хата, цыбуля, аловак, агурок, в голове делается гулко, как в медном тазу, хата цыбуля аловак агурок, сейчас до меня дойдет очередь, я отвечу, и все закончится, дом, лук, карандаш, огурец, можно будет выдохнуть с облегчением, дом лук карандаш огурец...

...бурак! – Классная смотрит на меня, на ее лице расцветает улыбка, кажется, даже вполне искренняя, я зависаю на этой улыбке и совсем не сразу понимаю, что настал мой черед, и я не знаю, что ответить, поскольку не знаю, как будет по-русски...

Бурак?

В классе воцаряется такая тишина, что при желании можно услышать биение моего сердца, все мысли улечиваются, остаются лишь несколько десятков глаз, устремленных на меня, и бураки, которые предстают перед моим внутренним взором: бордовые и розовые, желтые кормовые и плавающие в борще.

Всем – и мне – становится совершенно очевидно, что я не знаю, как по-русски «бурак», но никто не подсказывает, не рвется вперед, не тянет руку, никто не высовывается, бурак – он и есть бурак, так и будет, спроси у любого жителя Валсарба, у них у всех бураки и бураки, и никак иначе, и по-русски, и по-белорусски, и по-польски, возможно, по-английски иначе, однако сейчас это неважно, Господи, позволительно ли в третьем классе не знать, как по-русски будет бурак?

Улыбка Классной становится шире и ироничнее, когда она говорит: свекла, говорит и продолжает свое показательное выступление: вока, торба, кропля, плот, и никто не ошибается, не запинаясь ни на секунду: глаз, сумка, капля, забор, а мне продолжает казаться, что на меня устремлены десятки глаз со всех сторон, даже когда уже наверняка никто не смотрит.

Вполне возможно, что мама смотрит, сидит, зардевшись свекольно-бурачным румянцем, и буравит взглядом свою бестолковую дочь, которая не смогла ответить на простейший вопрос, не удосужилась выучить овощ за три года учебы, наказание божье, вполне возможно, не знаю, я молюсь о звонке с урока и не оглядываюсь.

Свеклу мы не сажаем, мы сажаем бураки, потому что Дед держит свиней в маленьком сарайчике за садом, и картошку, потому что едим ее сами. Сажать картошку довольно весело и интересно, ведь мы едем в Заборные Гумна, где нам дают на время лошадь, которая с помощью Деда и плуга делает на поле ровные борозды. Плуг идет медленно и неохотно, Дед прилагает заметное усилие, не в пример графу Толстому с известной картины, да и белых лошадей в наших краях я не видела. Мы бросаем в борозды семенной картофель, а потом лошадь с Дедом и плугом разворачиваются и засыпают ее земляным фонтаном из очередной борозды.

Копать картошку не так интересно и совсем не весело. Когда картошки много, очень быстро надоедает выковыривать ее из земли, собирать в ведра и высыпать потом в мешки. Устают все, и я в том числе. Дед говорит, потому что я еще маленькая. Остальные говорят, потому что я – лентяйка. Никто не верит, что

у ребенка тоже могут болеть ноги и спина или быть свои желания. Или нежелания. Нежелание копать картошку. В любом случае не думаю, что мне понравится копать картошку, когда я вырасту. Я – лентяйка, боль нужно учиться преодолевать, а все, что говорят взрослые, можно не слушать, просто думать о том, что скоро каникулы и три месяца свободы, а до первого сентября и копания картошки далеко.

Управившись с картошкой, взрослые долго обсуждают, как скоро ее придется окучивать, как лучше собирать колорадских жуков и какое средство для их уничтожения выбрать, и стоит ли ее удобрять, если результат одинаков, обсуждают все это с умным видом, подкрепляясь яйцами вкрутую, салом и хлебом, в то время как картошка еще неизвестно когда прорастет и взойдет, выпустив свои белые и бледно-фиолетовые цветы, но эти короли картофельного царства считают своим долгом обдумать все заранее. Потом Дед запрягает лошадь в телегу и зовет меня с собой прокатиться и вернуть животное хозяину. Телега старая и расхлябанная, того и гляди развалится под нашим весом, мы грязные и довольные, оттого что сделали большое дело, что погода не подвела, что мы вдвоем. Нам хорошо даже просто молчать, ехать и молчать, по дороге вдоль леса, в котором я никогда не была, странного леса, стеной отделяющего Валсарб от Заборных Гумен, а может, это и не лес вовсе, а только полоска из елей и сосен, как забор?

– Дед, почему Заборные называют Заборными, если здесь нет ни одного забора, только поля и огороды, все дома как на ладони?

Дед хрипло смеется, внутри него растягивают гармонь его прокуренные легкие, откашливаясь, он прижимает меня к себе: заборов нет, это – бор, детка, мы за бором, и осенью здесь бывают боровики.

Он гордится мной. Гордится, когда стоит у изножья кровати и наблюдает за тем, как я сплю, когда думает, что я сплю, а я не сплю, я притворяюсь, что сплю, чтобы почувствовать на себе его мягкий, охрипый взгляд, гордится, когда я что-нибудь записываю на листочке, что-нибудь важное или молитву, которую я обещала Бабе выучить, Ангел Божий, сторож мой, рядышком со мной постою, и он видит головастики-буквы, которые выходят из-под моей руки, такие круглые и правильные, и гордится, когда мы поем с Бабой на два голоса или я танцую под радиоточку в тесной кухне, а он, наблюдая за мной, имеет возможность любоваться своим продолжением, но больше всего он гордится, когда идет со мной за руку на занятия в костел, дважды в неделю, сестры-послушницы с цитатами из Писания, исписанные тетради с домашними заданиями, Ангел Божий, сторож мой.

Дед велит мне хорошенько причесаться и тщательно изучает мои ладошки на всякий случай, чтобы я не явилась в храм Божий со следами чернильной пасты. Сам он протирает щеки одеколоном перед маленьким зеркальцем возле ручного умывальника и надевает коричневый пиджак, даже если на улице стоит тропическая жара. Этим отличается его поход в костел от похода за хлебом. В магазин он может выйти в одной рубашке и со щетиной, в костел только в коричневом пиджаке и гладко выбритый. Он держит меня за руку, мы минуем магазин «Сувениры» слева и хлебный справа, проходную Бабиной работы, остановку и столовую на углу, и Дед не перестает улыбаться. В жару и в дождь, он всегда улыбается, когда идет со мной, чувство гордости переполняет его, он ведет меня на занятия, я такая большая, что скоро состоится мое первое причастие, какая радость! Иногда я задумываюсь, водил ли он три года назад так же за руку Владика, смотрел ли с такой же гордостью и на него, или Владика водила Баба, или его никто не водил, а дядь Митя привозил на машине и ждал, чтобы отвезти обратно. Можно было бы спросить об этом, но занятия поглощают меня целиком, и я забываю обо всем, так много потрясающих вещей из Писания нам рассказывают, пока мы сидим в лавках, как цыплята на насесте, и, открыв рты, слушаем про Ноев ковчег, радуго и завет Божий. Любопытно, каких все-таки животных Ной принес в жертву, если каждой твари было всего лишь по паре,

значит ли это, что тем самым он истребил какой-нибудь вид? Может, это были динозавры, например, или мамонты? К тому же получается, что Пан Бог – мясоед, если ему «угодна такая жертва» в виде животных, вот только неужели он в принципе нуждается в пище? Столько вопросов, на которые мне хотелось бы получить ответ, но я решаюсь задать только один, шепотом, рядом сидящей Иринке: как же Бог обещал, что не будет больше потопа на опустошение земли, а сам прислал тайфун в Приморье не далее как неделю назад.

Вопрос прозвучал громче, чем мне хотелось. От моей наглости даже Святая Тереза приподнялась со своего ложа в правом трансепте и вытаращила глаза пуще прежнего, хотя нашей Терезе все равно далеко до воплощения Бернини. Бабе не нравится эта святая, а нравится другая, ее тезка из Франции, она любовно зовет ее Терезкой и молится ей чаще, чем остальным угодникам. А эта, испанская Тереза давно меня смущает, в раннем детстве я как-то даже поинтересовалась у Бабы, почему эта тетя валяется на полу и ее никто не поднимет.

Отличная акустика в храме умножилась на отличный слух сестры, и она снисходительно пояснила, что я неверно толкую Евангелие, Бог никогда не присылает тайфуны, а помогает укротить стихии, иначе жертв и разрушений было бы больше. Всякого рода катаклизмы – это ответ природы на деяния человека. Я хотела узнать, что такое катаклизмы, но на всякий случай не стала, и только записала котоклизмы в тетрадку, интересное слово, только эти коты и клизмы окончательно сбили меня с толку.

В костеле очень много теней. Особенно возле алтаря. Иногда они выходят прямо из сакристии, иногда садятся на кафедру и крутятся возле табернакля. Совсем маленькой я думала, что это ангелы, но ни разу не видела у них крыльев.

Когда начиналась Гроза, он открывал двери, впускал их внутрь, и они пережидали. Сначала это была одна семья, потом три, потом одна семья сменилась другой, а первая бесследно исчезла, и так он понял, что слух о его открытых дверях передается из уст в уста.

Люди, которые молились трижды в день, не преклоняя колен и только обратясь лицом к Иерусалиму, с любопытством разглядывали Матерь Божию Валсарбскую и украдкой дотрагивались до позолоченных деталей алтаря.

Отец Мечислав, такое горе у нас, отец Мечислав, Бейлю и Якова убили!

Такое горе у нас, Шломо и Рафаэля убили!

«Пан Бог с вами!» – неизменно отвечал отец Мечислав, оставлял их пережидать Грозу и совал на прощанье в худые, иссохшие ладони деньги для жены Бейли и сына Якова, для матери Шломо и сестры Рафаэля.

Он проводил мессу для своих прихожан, а думал о людях, которые спасались у него от Грозы. Он знал, что не все католики разделяют с ним боль за этих людей, не все думают, что помощь нехристианам – дело богоугодное, не все считают его достойным ксендзом для Валсарба. Таких людей было мало, но они были. Он не имел права укорять, ему надлежало научить сопереживать. Эта наука не всем давалась легко. Он догадывался, что его прихожане способны предать иноверцев. Не за сребреники, а за полкило соли.

Однажды на исповеди старая Ковалевская рассказала, что видела, как грабили дома тех, кто не вернулся после Грозы. Грабили не убийцы, а прихожане его костела. Она рассказывала и плакала, оттого что не могла им помешать, а он слушал и плакал, оттого что не мог им помочь.

Каждый раз во время проповеди ксендз Мечислав считал своим долгом напомнить, что все люди – братья, подчеркнуть, что Пан Бог послал Сына своего единородного, что придет Царствие Его и будет воля Его, ежедневно просил простить долги наши,

как и мы прощаем должникам нашим, каждый вечер выходил на крыльцо костела и с тяжелым сердцем оглядывался по сторонам. Справа было озеро – прозрачное и голубое летом, темное и мутное – осенью, белое – зимой, зеленое – весной. Слева узкая улица Великая, которую новые люди за год превратили в тюрьму для местных жителей. Впереди Замковая гора, такая же огромная, как отчаянье.

Целый год, с одного июня по другой, каждый божий день был пропитан страхом, зловонным, смердящим в воздухе ужасом, каждый вечер пронизан тревожным ожиданием, трепещущим в груди, точно мотылек у керосиновой лампы.

Вечером того дня еще на подходе к плебании ксендз Мечислав увидел группу этих уставших, тощих, изможденных людей. На общем фоне выделялись два подростка и несколько лысых женщин; кто-то стучал в запертую дверь, другие напряженно озирались, подались навстречу: нех бэндзе похвалёны Йезус Хрыстус, взволнованно заговорили. Стреляют по всем, по каждому без разбору, даже не ведут больше к ямам, просто убивают, как мух, длинными автоматными очередями, что делать, отец Мечислав, помогите.

Он оглянулся на озеро и увидел, как взорвался горизонт. Излюбленная мизансцена солнца – выплеснуть все оттенки желтого, пригрозив дождю скорой расправой.

Бегите в ту сторону, ответил он, ощущая воду на своем лице, главное, держитесь берега, никуда не сворачивайте, бегите вдоль озера, там есть тропинка, Пан Бог с вами, вдоль озера, держитесь берега, он остался беспомощно стоять на крыльце плебании, не в силах ни перекрестить их вслед, ни перекреститься сам, поскольку выстрелы раздавались все ближе и ближе, где юдэ, и ближе, а сверху посыпался легкий, как конфетти, слепой дождь, барабана по крыше, по жести подоконника, звонко, словно алтарные колокольчики, где юдэ, яхонтовым сокровищем переливаясь в лучах яркого, вечернего солнца, где юдэ, йа спрашивайт, посыпался прямо на человека с бесцветными глазами, где юдэ где, суется и перебивая шаги, перебивая слова, перебивая громкий хлопок, перебивая внезапную боль в груди, где юдэ где юдэ где

Когда ноги у ксендза вдруг стали точно резиновые и он упал, дождь одумался. Человек с бесцветными глазами тоже. Они оба сбежали подальше от плебании, где лежал отец Мечислав – большой человек с маленькой дырочкой на сутане в области сердца.

Мать Божья Валсарбская, висящая прямо напротив креста со своим Сыном-спасителем, крепче прижала к себе Сына-младенца и заплакала.

Я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели, кроме.

Viola tricolor. Фиалка трехцветная, анютины глазки. Можно сразу догадаться, что они съедобные, даже без травника, такие они аппетитные с виду. Пожалуй, это самые чудесные цветы в Валсарбе.

Валсарб – город-сад, где нарядными старшеклассниками на торжественной линейке выступают аллеи каштанов, вредливо бросая под ноги свои плоды, трепетно кланяются длинноволосые ивы, демонстрируют неглиже березы, черемуха и яблони соперничают в звании «Лучший наряд весна-лето», перекачено поле тополиного пуха играет на стадионе в футбол. Осенью здесь рябит от рябины и пестро от кленовых гобеленов, на окраинах горделиво возносятся оранжевые столбы корабельных сосен, но красивые цветы – редкость, иногда их высаживают на клумбе посреди площади, иногда это бывают анютины глазки.

С тех пор как я обнаружила в хатке старый иллюстрированный словарь-цветник с латинскими названиями растений в скобках и строгими, неброскими набросками на пожелтевших страницах, мы с Алеской начали есть цветы. Не от голода, конечно, а из любопытства. Откровенно говоря, при таком количестве съедобных растений ими вполне можно поддерживать существование.

Старый словарь пахнет сыростью и прелой землей. У меня внутри трепещет что-то от одного его вида, как от бесценного сокровища, хотя сохранность книги оставляет желать лучшего. Цветник мне хочется съесть в первую очередь: пусть бы слова, в нем написанные, поселились внутри, проросли в клетки мозга, позволяя распознавать растения с одного взгляда. Цветник – мое успокоительное и занимательное.

Лапки с желтыми цыплячьими шариками, которые папа вне зависимости от причуд природы и капризов весны неизменно вручает маме в Женский день, называются акацией, но все зовут их мимозой. В старых печных котелках на окне стоит не герань, а пеларгония, у забора растет не шпорник, а дельфиниум. Цветы невиданные и недостижимые, такие же красивые, как их названия, я раскрашиваю карандашами прямо в книжке. Душица, колокольчик, иван-да-марья – где-то в Валсарбе они лиловеют, должно быть, но мне не всюду позволено ходить.

Сильнее всего мое воображение будоражат розы, но розы в Валсарбе не растут, они существуют только в волшебных сказках о принцессах и в райских кущах, разумеется. А вот сирени – пожалуйста, сколько душе угодно, она бросается в объятья из каждой подворотни, причем иногда совершенно не сиреневая, а белая, с головокружительно громким ароматом. Оглушительнее нее благоухают только мамины любимые ландыши.

Я читаю цветник, сидя под жасмином-чубушником, у него такой звенящий запах, как у хрусталика. Ваза и жасмин пахнут совершенно одинаково, вместе и порознь. Рядом с будущим Дедовым табаком душевное флоксовое царство, ближе к смородиновым кустам – бледно-розовые маки, из них собирают семена к рождественскому столу.

На улицах Валсарба полным-полно одуванчиков. Они растут невозмутимо и самоотверженно, будто в чистом поле. Так бывает: тротуаров в городе нет, а одуванчики есть. Есть и живые изгороди из шиповника, и сонные желтки ромашек, с их аптечным благовонием, у калиток. Возле Большого озера синюют поляны люпинов вперемешку с куриной слепотой и кукушкиными слезками.

Tagetes erecta, рыжие бархатцы с горьковатым запахом, возникающие на школьных клумбах стихийно и неотступно, как хроническое заболевание. *Antirrhinum*, львиный зев, чьи разноцветные мордочки открывают и закрывают рты по моему велению. Ноготки календулы, которые помогают разбитым коленкам не хуже подорожника, а выглядят куда привлекательнее. *Cardaminum Adans*, настурции, яркие, сложно-оранжевые, визуальный образ сигнала тревоги: цветущие настурции – верная примета начала учебного года. Несуразные, повсеместно растущие у школ цветы с красивым названием сальвия сверкающая, оказывается, опасны для здоровья, но именно вокруг них мальчишки чаще всего вьются, будто шмели, пробуя на вкус.

Ближе ко Дню знаний из-за заборов выглядывают самодостаточные гладиолусы, вынужденные коротать свой век преимущественно в учительских. Иногда в огородах, возле грядок с морковкой, маячат чернильные или лиловые астры, вечно мокрые и лохматые, точно щенки, попавшие под дождь. Иногда их заменяют безрадостные стойки-хризантемы, вызывающие щемящую грусть по ушедшему лету.

В остальном Валсарб не оригинальничает и ограничивается гвоздиками. Покупными белыми и красными гвоздиками, годящимися как для мужчин, так и для женщин. Их пышные юбки гофре собирают в слюдяные кульки и отправляют на задания. Гвоздики-дипломаты ведут переговоры с живыми и мертвыми прямолинейно и беспристрастно и за праздничным столом, и в траурной корзинке. Валсарб и хотел бы поменять посредника, но других нет.

В тени под жасминовым кустом нравится только лилиям. Самые обыкновенные

тигровые лилии без запаха и вкуса растут на Бабиной импровизированной клумбе вдоль забора, от садовой калитки почти до колонки. На лилиях живут трещалки – красные жуки-пожарники. Я меняю их на бронзовок, которых Алеська таскает мне со своего огорода. Они походят на переливающиеся бензиновые пятна, разлитые на мокром асфальте. Сыто копошатся в спичечном коробке, точно живые броши, небрежно покрытые зеленоватым перламутром, а вот в нашем саду не приживаются. Трещалок на лилиях так много, что скоро цветов не останется. Они вредители, но симпатичные и забавно пищат. Когда ладошка захлопывается, они вопят и стрекочут, будто Одиссей с приятелями в пещере при приближении Полифема.

Сидя на ступеньке хатки, я развлекаю себя их звуками, пока учу очередную польскую молитву, записанную кириллицей под Бабину диктовку. Сад наполнен резким светом и сонной негой послеполуденного солнца. Кто-нибудь то и дело подходит набирать воду и бренчит ведрами. Но я хорошо устроилась – с головой в жасмин, аминь, он такой огромный, что меня не видно. Мне некогда заниматься глупостями вроде тех, какими занимаются Владик и Алеська. Символ Веры – длинная и не очень понятная молитва.

Владик тоже гостит у Бабы. Вообще-то, не тоже, потому что я, понятное дело, гощу у Деда. Но кокору Баба печет для нас обоих, и я немного злюсь. И на Бабу, и на кокору, которую почти никогда не готовят для меня одной, и на Алеську, чего уж там. Ходит вокруг да около Владика, пока он сидит, как маленький, в песочнице с ее младшим братом, а ведь ему почти двенадцать, он самый старший в округе. Я его сестра, между прочим, мог бы и со мной посидеть. Но он меня не ценит. Хотя в нашей семейной игре я всегда выбираю его. Это шуточная игра, но я не нахожу ее смешной: люди, я заметила, обожают демонстрировать свои предпочтения. Когда мы бываем у дяди Мити, взрослые разговоры рано или поздно заканчиваются одинаково. Одинаково глупо. Папа говорит: я забираю себе маленького. Мама говорит: я забираю себе Сашу. И когда Владик картинно разводит руками и вопрошает, кто же возьмет его, разумеется, этим кем-то оказываюсь я. Но в гостях у Бабы за целый день он перебросился со мной лишь парой ничего не значащих реплик, стало быть, куда больше его занимает лепка куличиков для брата той, которая строит ему глазки.

Я пытаюсь повторить молитву, но польские слова несутся створоженными клочками по закоулочкам моего сознания и вылетают вон. На их место непрошено и без стука являються зеркальные, волшебные: в аду – удав, восторг – грот сов, завиток – кот и ваз, парк – крап, великая – я аки лев. От них клонит в сон, сон – нос, летаргия – я игра тел.

Где-то между мирами нави и яви появляется тонкая поролоновая прокладка и упаковывает меня, как посылку, отправляет в ссылку миражей, приклеивает марку, на которой изображена арка, я триумфально держу ее под жидкие аплодисменты шагов.

Калитка не скрипнула, и она застала меня врасплох.

Враз – плох становится тот, кто умудряется узнать твою тайну. Тайна заключается в том, что ты дремлешь с запрокинутой головой и малопривлекательно открытым ртом средь бела дня, а если точнее, раннего вечера, забывшись, как младенец в коляске, спишь прямо на улице, с тетрадкой на коленях, выбившись из сил и окончательно проиграв в схватке со словами. Ты должна мне помочь, говорит она тебе, то есть мне, развалившейся, как мешок груш, поперек входа в сад.

Карусель из ветвей и листьев вращается над головой, реальность лягает меня в грудь, потом старательно пытается поставить на ноги, терпеливо предлагает в качестве точки опоры то ступеньку, то стену хатки, недоумевать некогда, я торжественно киваю невпопад, я слушаю Алеську.

– Отдай это Владиду, пожалуйста... – Алеська протягивает небольшой бумажный огрызок.

Я беспомощно смеюсь, окончательно приходя в себя.

– Он, по уши в песке, сидит сейчас посреди твоего двора. Почему ты не сделаешь это сама?

– Потому что он решит, что я бегаю за ним и навязываюсь.

– Разве, если это сделаю я, он так не решит?

На огрызке изображена Алеська. Вырезанная смелыми ножницами из новогодней фотографии с Дедом Морозом. В первоисточнике она сидела у него на коленях. Поэтому сейчас колено Деда Мороза предательски торчит у Гусара между ног. Гусар – это Алеська. Я догадываюсь, почему на ней столь экстравагантный карнавальный костюм. Думаю, это имеет непосредственное отношение к тому, что у Алеськи есть старший брат, тоже, возможно, некогда бывший Гусаром.

– Он сможет смотреть на меня. А значит, не забудет.

Как человек, которому пока не знакомы сильные чувства, я испытываю к Алеське легкое презрение. Но еще и жалость, и невесть откуда взявшееся желание помочь. Однако это не отменяет того, что ее поступок кажется мне несусветной глупостью.

– Может быть, тебе нужно просто с ним поговорить? – робко предлагаю я.

– Вот еще. Тогда он точно решит, что я вешаюсь ему на шею. А ты скажи ему, мол, так и так, это моя подруга Алеся, возьми себе на память ее карточку.

– А если он не захочет?

– Не захочет? – Подобная мысль, видимо, Алеську не посещала.

– Если пошлет меня куда подальше с твоей карточкой, что тогда?

Алеська обескураженно переводит взгляд с меня на Гусара. Из оцепенения ее выводят первые аккорды воды, льющиеся из колонки в жестяное ведро соседки.

– Но ты же можешь попробовать!

Я могу. Ты можешь. Он / Она / Оно может. Мы можем. Ты можешь. Вы можете. Они могут.

Владик так же обескураженно глядит то на фотографию, то на меня, потом осторожно кладет карточку на стол и спрашивает, зачем на Алеську напялили кивер. Я не знаю, что такое кивер. Оказывается, так называется высокая гусарская шляпа. Владик все любознательнее разглядывает изображение, интересуясь деталями костюма и подробностями: кем была Алеська – сказочным оловянным солдатиком, Щелкунчиком, кавалеристом летучей конницы, лейб-гвардейцем?

– Может, ты спросишь у нее сам? – неуверенно предлагаю я.

Он смотрит на меня так, будто я только что вытащила за уши кролика. Из кивера. Пожалуй, если он и не догадался, то начал кое-что понимать. А я, стоящая деревенской свахой посреди трехметровой кухни, где тепло пахнет жареным луком, даже из уважения к Алеськиным чувствам больше не в состоянии удержаться от смеха. И мы смеемся. Оба. Дружно. Очень громко и недостойно.

Владик уезжает домой на следующее утро, потому что, когда у тебя есть младшие братья, полноценные каникулы – непозволительная роскошь. Это хуже, чем дача или грядки. Дети нуждаются в неусыпном контроле, а их родители – в ликвидации сердечной переполненности и компенсации душевной недостаточности.

После полудня ко мне является возмущенная Алеська собственной персоной. Алый румянец негодования полыхает на ее лице.

– Что это? – с досадой спрашивает она, протягивая мне на ладонке испачканную карточку Гусара и кусочек стекла.

– Твоя фотография. Кажется.

– И она была в песочнице! Ведь мы подруги, как ты могла закопать мою фотографию в моем же дворе! Почему ты не отдала ее? Это не смешно. Удачнее шутки не придумала?

Стеклышко очень красивое, сепийного цвета, как старые пленки, замечаю я. Все вместе складывается, как недостающая деталь головоломки.

– Это секретик. Владик, наверное, сделал такой секретик – стеклышко с твоим изображением. Подал знак, что разгадал твою тайну.

– Какую еще тайну...

– Ну... Что он тебе нравится.

– Вот еще! Ничего он мне и не нравится! – говорит Алеська и выбегает на улицу.

Хуже некуда обстояло дело с барашками, они никому не удались, кроме Иринкиной старшей сестры, которая приводила Иринку в костел, как меня Дед, только не за руку, а просто приводила и сидела вместе с нами в лавках, никогда не путала слов в молитвах, прекрасно понимала по-польски, знала Евангелие назубок и, наверное, в будущем готовилась стать монашкой.

Когда нам сказали, что нужно будет нарисовать рождение Иисуса, я обрадовалась. Мне нравится Рождество, и сюжет этот есть на многих иконках, которые собирает Баба, у нее внушительная коллекция, и мы часто ее разглядываем, так что я решила, что скопировать младенца в яслях с Марией и Иосифом не составит труда, и, наверное, многие так решили и довольно легко и быстро срисовали и принесли, кто более, кто менее удачные образы маленького Сына Божьего, но сестра-послушница, проверяя наши работы, неожиданно озабочилась отсутствием овец в хлеву. Давайте дорисуем барашков, сказала она, и мы все растерялись. Вдруг оказалось, что никто не знает, как рисовать, а главное, как уместить их в перспективу наших рукотворных произведений. Вот тут-то Иринкина сестра пришлось как нельзя кстати, поскольку если она все же не станет монашкой, то, вполне вероятно, сможет стать иллюстратором Библии. Она помогла всем без исключения, сидела и рисовала двух-трех барашков пятому, восьмому, четырнадцатому ребенку, стоящему в очереди к ней с раскрытой тетрадкой, как покупатели в молочный отдел гастронома с бидонами.

Позднее я узнала, что пастухи, которые явились поклониться Иисусу, оставили свои стада на пастбище и ни в одном Евангелии не сказано, что в хлеву вообще были овцы, но у нас они были, у каждого в тетрадке, абсолютно идентичные, немного диснеевские, кудрявые барашки, старательно нарисованные Иринкиной сестрой.

Мирт у Бабы в эмалированном баке превратился в настоящее дерево, нимфа Мирсина очень добра, можно рвать, сколько заблагорассудится, в любое время года, мама одолжила мне свой свадебный венок, он называется флердоранж, с веточками мирта выглядит бесподобно. Дни были набиты всякой всячиной, и теперь, после стольких приготовлений, казалось бы, можно наконец уgomониться и только ждать, однако с платьем дело обстоит из рук вон плохо, говорит мама, ведь в магазине нет ни атласа, ни сатина, ни шелков, ни кружев никакого цвета, не говоря уже о белом. Белым у нас бывает только лен, прочный, шероховатый, годящийся для износостойкого постельного белья, а не для изящного платья. Помочь здесь сможет разве что оконный тюль, сетует она, ума не приложу,

как обстоят дела у настоящих невест.

А мне, собственно, и неважно, в чем пойти на первое причастие, я согласна на хлопчатобумажные занавески-сеточки, которые висят у Бабы на всех дверях, даже в хатке, и охотно облачилась бы в них, как делаю, когда играю в принцесс, но, боюсь, мама этого не одобрит.

Тем временем тетя обещает сшить мне красивое платье, несмотря ни на что, ее ничем не проймешь, если она садится за швейную машинку. Из куска бордового креп-жоржета рано или поздно выглядывает костюм Красной Шапочки, из крашеной марли возникает Спящая красавица, так что можно не волноваться. А новые белые сандалии у меня уже есть.

Первое причастие состоится в воскресенье, накануне моего дня рождения, по шушуканьям и довольным физиономиям взрослых легко догадаться, что у меня будет грандиозный двойной праздник, хотя отмечать рождение заранее – плохая примета, что это еще за суеверия такие, ты либо в Бога веришь, либо в приметы, выбирай. В качестве сюрприза предстоит поездка в Динабург, а это почти что страна Желанная. Всего каких-то полчаса на автомобиле, но пером не описать, до чего все другое. Здесь есть вокзал и рельсы, которые ведут на этот вокзал, в нездешних магазинах продают творожные сырки в шоколаде и взбитые сливки в баллончиках, прямо на улице розовые облака сладкой ваты на палочках, а в кафе-мороженом – шарики пломбира в металлической розетке. В парке аттракционов можно попрыгать на лошадках-качалках, прокатиться на паровозиках или колесе обозрения, которого смешно боится папа. Ничего подобного в Валсарбе нет. Вряд ли город в состоянии вынести ораву визжащей детворы, умеющую летать выше деревьев на чертовом колесе, исключено. Никаких каруселей, достаточно качелей во дворе. Валсарбу по нраву только камерное и привычное: кустик, песочница, озеро, лавочка, озеро, дом. Ему под стать лишь благовоспитанные дети, чинно и торжественно взмывающие вверх, парами, по лестнице костела, и их родственники, всхлипывающие от умиления, надо же, погода не подвела, безоблачное небо открыто чистым сердцам.

Распахнуты двери навстречу бесконечному сонму белоснежных мотыльков, которые прежде, чем занять места в лавках, трепеща от волнения у решетки исповедальни, свистящим шепотом перечисляют грехи свои тяжкие – тихо, как можно тише, на редкость хорошая акустика подводит, никуда не денешься, пожалуй, даже на улице слышно, как ты маму не слушался сто раз – самое малое за жизнь, может быть, даже пятьсот, папу тоже не слушался, но он поздно приходит с работы, поэтому доля непослушания ему не столь велика, брата дразнил, а он еще маленький и несмышленный, у Димки с соседнего двора машинку украл, но потом отдал и сказал, что нашел, одноклассника обозвал, даже и не думал, что это слово настолько скверное, искренне раскаиваюсь, больше грехов не помню, могу ли я рассчитывать на рай. Ксендз стучит три раза, и призывает к молитве, и отпускает грехи наши смертные, отпускает души наши грешные, отпускает нас, залитых кровавым румянцем, остается подняться с колен на ватные ноги, дотянуться до столы, поцеловать ее и, поскорее исчезнув с глаз других, молиться и каяться в каком-нибудь укромном уголке.

Каяться нужно вдумчиво, не заботясь о том, что будет, если комуния упадет, если этот хрупкий хлебец возьмет и упадет, – о ужас, она не должна упасть у тебя, детка, конечно, не упадет, с чего бы это, однажды у здешней старухи упала комуния, прямо на пол упала, пол был чистый, разумеется, там даже коврая дорожка была, но это же Тело Христово упало, понимаешь, не просто кусочек пресного хлебца, все молились до поздней ночи, пришлось всем замаливать это грехопадение, всему костелу во главе с этой старухой, не думай об этом, думай о грехах своих, не отвлекаясь на предстоящую поездку в новом сливочном и кружевном платье в сказочный Динабург с реками из молочных коктейлей с кисельными берегами. Кисель – это фамилия нашего ксендза, бывают такие говорящие фамилии, запомни, Францишек Кисель, говорит Баба, меня не будет, Деда не будет, а этот день останется. Сможешь показывать внукам нерезкие фотокарточки с залитыми июльским солнцем ступеньками, на которых видимо-

невидимо маленьких белоголовых херувимчиков вместе с ксендзом Киселем и с нашим, родным ксендзом Михалом, они ведут вас к свету, ведут сегодня и поведут потом, когда меня не будет, Деда не будет, когда ничего не останется. Только засвеченные фотографии.

Наверное, Люська обиделась на что-то. Может, на то, что сегодня у меня получалось лучше прыгать. Признаюсь, я немного потренировалась дома, нацепив резиночку между двух стульев, но, думаю, мои тренировки ни при чем, мне просто повезло. Я совсем не спортивная и вечно освобождена от физкультуры.

понимаешь Люська была моей единственной подругой то есть я думала что мы подруги я не перестала с ней дружить когда она выкопала и присвоила себе наш общий клад который мы договаривались не трогать ни при каких обстоятельствах и не трогали пока я с балкона не увидела как она странно вертится именно в той стороне площадки где находился наш тайник с красивыми мамиными брошками и бусиками такими влекущими и искушающими будь они неладны и на самом деле я не знаю что еще маме скажу если она спохватится и пустится на поиски своих украшений ведь Люськиного там и не было ничего один несчастный гребешок с потрескавшейся эмалью но я не перестала с ней дружить когда она передарила мой подарок мне же на день рождения она не любит читать должно быть она удивилась что у нее дома есть книга откуда она вообще взялась не перестала когда она говорила что не выйдет а потом маячила под моими окнами в компании других ребят я всегда молчала не донимала ее нравоучениями не задевала самолюбия игнорировала Люсины жеманные ужимки но когда она вынесла на улицу и начала читать на весь двор наш общий дневник я поняла что дневники должны быть личными а она не друг

Мне нравилась Люська. Она тепло улыбалась при встрече и провожала меня таким взглядом, каким смотрит на нее мама, ее мама, моя никогда не смотрит на меня так – с заинтересованной нежностью. Моя мама смотрит на меня, если вообще смотрит, без тени улыбки, взглядом уставшего человека, иной раз растерянно, иной раз разочарованно. И с отчаянием – с тех пор как окончательно убедилась в том, что я выросла не такой девочкой, какую бы ей хотелось. Меня ни капельки не заботит, что обо мне подумают другие, в то время как мама в высшей степени зависима от чужого мнения. Я – замарашка и лентяйка, а мама неукоснительно следует заветам, которые диктует ей Пресвятая Богиня Порядка. Возможно, это она и есть. Ко всему прочему, любые начинания мама предпочитает держать под личным контролем, пусть и сетуя при этом на судьбу.

Все бы ничего, да только невозможно привыкнуть к тому, что твой ребенок слишком уж не от мира сего, в отличие от детей твоих знакомых, демонстрирующих потрясающие успехи в кройке и шитье, уборке и кулинарии, – говорит мамин печальный взгляд.

Ей бы только марасть чернилами тетрадь, полоща чужие слова, точно бельё в лоханке. Драть ее нужно, как сидорову козу, говорят мамины знакомые. Их дети, в отличие от меня, исполнены прилежания, послушания и благодарности. Их не нужно исправлять, чинить, ремонтировать, перелицовывать, они сразу родились без изъянов, недостатков и слишком умных слов.

Иногда мама смотрит на меня так, будто видит впервые. У меня не получается ни быть, как все, ни притворяться, что я как все, вот в чем дело.

Если я плачу сейчас, то не от разочарования, только от возмущения и стыда. Я уже привыкла к тому, что у меня нет друзей, меня даже не задел Люськин смех, когда она читала. Но меня возмущает то, что другие отныне знают мои мысли, знают, как выглядит мой почерк, а я не давала на это разрешения.

Мне кажется, что Ты тоже был одинок, иначе являлся бы своим друзьям или родственникам, пугал бы их ночными канонадами выстрелов, и мне

не приходилось бы каждое утро воскресать.

Одиночество – вроде недуга. Оно бросается в глаза не хуже других болезней. Бабин большой живот – глашатай ее нездоровья. У таблеток от ее сахарной болезни есть побочные эффекты. У одиночества они тоже есть. Побочный эффект моего одиночества – простуды. Я не всегда понимаю, кому можно доверять. Действую на ощупь ощущений. Меня легко купить на лесть и доброе слово. Почти как собаку. Что греха таить, если тебя никогда не хвалят или в лучшем случае не замечают, всякая похвала бодрит.

Обычно я не играю в доверие, но у Тоньки был такой невинный вид, она подошла и спрашивает, отчего это у меня такие волосы красивые, блестящие, как я этого добилась, уж не намазала ли чем-нибудь секретным; я поблагодарила за комплимент и вместо того, чтобы насторожиться, чуть ли не со слезами умиления ответила: нет, что ты, ничего особенного я не делала. Тогда она засмеялась и сказала:

– Видно, это сало блестит. Ужасно жирные волосы. Голову мыть не пробовала?

А потом Уля подходит и говорит, мол, у тебя красивый почерк, я заметила, ты даже на доске пишешь ровненько, это не у всех хорошо выходит, давай дружить?

Настоящий друг – редкость, вроде полезного ископаемого, неплохо подружиться с кем-то в классе, но мечта эта несбыточная. Я не знаю, что ответить и как отнестись к ее предложению. Уля – очень полная, смешливая и любопытная, нет оснований ее в чем-то подозревать. К ней все хорошо относятся, несмотря на ее полноту. Я полагаю, это тесным образом связано с тем, что Уля – дочь учительницы.

– Завидуют они тебе, – говорит она и смотрит мне прямо в глаза в ожидании реакции. – Как заведенные, даже на уроках обсуждают твой шрам над глазом, которого, кстати, почти не заметно, если не приглядываться, это Нина рассказала историю о том, как ты в саду упала и бровь рассекла, ты же с ней в одной группе была, а им ужас как интересно все, что тебя касается, вот они и спорят, что у тебя на шее: родимое пятно или ведьмина метка, и почему у тебя пальцы на руках такие длинные, и на какой щеке у тебя ямочка больше видна...

– Кто это – они?

– Ну все они, – добавляет Уля скороговоркой, переходя на шепот, – с камчатки. Тонька, Лариска, Лина и другие. Они завидуют.

Я плохо понимаю значение этого слова, но стыдно признаться. Мне неясно, каково это – завидовать. Я читала об этом в мифах, что-то рассказывали в костеле о зависти и ревности, греховное, знакомое, зудящее слово: завидуют, только при чем здесь я?

– Что значит завидуют, Уля? Я не понимаю. Ведь я тихо сижу, я думала, меня даже не замечают.

– Воротничок у тебя сегодня ажурный, а вчера были банты гофре. Вдобавок ты очень симпатичная и бунтарка, это сразу бросается в глаза... Вот они и ищут в тебе недостатки, а сами завидуют, понимаешь?

Вспомнила. Каин, нашедший недостатки у брата, первый убийца на земле, возжелавший чужой добродетели. Нет, не понимаю.

– Наверное, тебе показалось... Или ты не так поняла. С чего это им обсуждать мои банты?

– Ой, ну и глупенькая же ты... Глупенькая и наивная. – Уля хитро улыбается,

щелочки ее глаз становятся еще меньше, а щеки еще больше. – Я тебя предупрежу, если они что-нибудь задумают, только и ты уж будь начеку, пожалуйста, постарайся не расслабляться.

Чем заслужил неприязнь в чужих сердцах, никогда неизвестно наверняка. Что-то было первым: действие, движение, взгляд. Что-то, что раздражает других. Вряд ли это накрахмаленный воротничок на форменном платье. Это что-то неявное и неясное, мне его еще не предъявили в лицо, это обвинение, повод для ненависти.

Я стою за дверью, а хочу убраться куда подальше, пуститься наутек, не разбирая дороги. Я согласна даже плашмя на площадь и головой в асфальт, как страус.

Из класса доносятся обрывки разговоров и смешки.

Началась любимая хищная игра нашей Классной. Игра неправильная, невыносимая и жестокая. Командная игра на выживание. Каждый из двадцати семи учеников поочередно выходит в коридор и ждет, пока класс его обсудит. За что-нибудь осудит. Учительница, которая придумала эту игру, выслушивает мнение одноклассников о товарище, приглашает этого товарища вернуться, зачитывает ему, смиренно стоящему у доски и потупившему взор, к каким коллективным итогам и выводам относительно его персоны пришли одноклассники. Год из года в наших характеристиках, которые нам не забывают вручать в письменном виде, почти ничего не меняется. Если в первом классе оказалось, что ты «необщительный» «тугодум», «не умеющий дружить», то, скорее всего, таким ты и останешься. И будешь нести на себе это клеймо, не в силах ничего изменить.

Чтобы не думать обо всем этом, я тоже играю в свою любимую игру. Дорога – агород, коридор – род и рок, шут – туш, шорох – хорош.

Чужие слова за стенкой крошатся и проникают в мои мысли. Я не одна, не одна, другие тоже. Наверное, другим так же...

Если бы Галя не заикалась, она не была бы такой несмелой – обязательно скажет кто-то, – почему ее не лечат?

– Нет-нет, заикание – это не предмет для разговора, давайте просто скажем: Галя очень несмелая.

У Феде большие уши, наверное, поэтому он и не вызывается отвечать.

– Ребята, уши мы обсуждать не будем! Давайте ответим на вопрос: хороший ли Федя друг?

– Очень хороший! Только он ни с кем не дружит!

Кабукин – хулиган, потому что у него папа – пьяница.

– А Кононович все время носом пыхтит, когда пишет. Это раздражает! – каждый раз говорит Тонька.

Яна нормальная, ну и что, что у нее мама уборщица...

– Ребята, это к делу не относится, неважно, какая у ее мамы профессия. Мы обсуждаем личностные качества!

Но это еще как относится. Никто не смеет плохо отозваться о Ларисе или Тоньке, зная, кем работают их родители. И Классная в первую очередь. Она так и лебезит перед ними.

Если уйти, в классе останется мой портфель. Если вернуться в класс и, встав у доски, покорно выслушивать их, это заденет то чувство во мне, которое по-польски называется *годность*, а по-русски я пока не знаю как. Прийти домой без портфеля – нельзя, сбежать сейчас и вернуться потом, когда никого не будет, –

тоже нельзя, класс закроют.

Я – заносчивая и никчемная, невыносимая и несусветная, знающая все обо всех и почти никогда не согласная с оценками этих всех, стою и пытаюсь угадать, высказываются ли они когда-нибудь о моей семье? Что их нервирует во мне больше всего?

Няня Маша говорила, что я – сообразительная и у меня будет много друзей. Я и не подозревала, что на самом деле в школе необязательно появляются друзья, зато непременно решают нерешаемые задачи, множат тоску и учатся жестокости. Что лучше всего здесь я научусь ждать. И в этой дисциплине мне не будет равных. Я уже умею ждать подвоха, звонков с урока, выходных, каникул и переменок. И не перестаю ждать перемен.

А эра милосердия почему-то никак не наступает.

– Я расскажу тебе, чтобы ты знала. И обязательно помнила.

На северной окраине Валсарба находится кладбище. Еще одно. Самое молодое кладбище. Самое большое кладбище. Самое маленькое кладбище. Там нет могил.

– Что же там есть?

– Камень. А может быть, плиты. Я там никогда не была. Но о нем все знают. Все в Валсарбе. Просто никто не говорит. Никто не ходит туда. Все боятся и молчат. Там похоронены те, кого убил правитель Германии, фюрер. Сотни, тысячи людей. Те, кто жил здесь, на нашей улице, пятьдесят лет назад.

– Здесь было столько людей?

– Я тогда была маленькая, и наша семья жила не здесь, а в деревне, еще дальше, чем Заборные Гумна, но я знаю, что здесь жило много людей. Они погибли. Ты должна знать. И обязательно помнить.

Я не люблю слушать о бывших людях. Они мне потом снятся. Приходят, совсем как живые, и рассказывают свои топкие истории – посланники потустороннего мира. Я не всегда понимаю, что они говорят. Иногда они изъясняются картинками. Если к утру эти сны превращаются в слякоть или мутную, смутно-тревожную дымку, эти люди возвращаются потом снова и снова. Они справляются с преградами, стенами, рвом, лабиринтом, барьерами. Любое болото легко переходят вброд. Бывшие люди хотят быть услышанными. Во что бы то ни стало. Не их вина, что Клото как попало сплела нити их судеб и теперь они вынуждены напоминать о себе. Ведь так-то, по-настоящему, чужая жизнь никому не интересна. Если хочешь ею поделиться, стоит написать книгу. И прежде чем отказать твоей жизни в публикации, ее прочтет хотя бы редактор. Бывшие люди не могут написать свою жизнь. Эту грань им не перейти – пусть их жизнь и была примечательнее жизней многих. Они являются ко мне и под диктовку снов заставляют себя выслушать.

Зеленые проплешины мха пропитались дождем, и время от времени с крыши капало. Я видел, что Моше это развлекает, детям нужно чем-то развлекаться. В тяжкую годину особенно. Хотя из дому в наше время лучше лишний раз не высываться, если хочешь избежать непрошенных гостей. Глядишь, и о нашем существовании забудут.

Сын похож на меня, такой же мечтатель с торчащими вихрами, каким я был в детстве. Парням надлежит быть более смекалистыми и ловкими, но такими уж

мы уродились. Хорошо еще, мне с моей Гутой повезло. Лучше жены не сыскать во всем городе.

Я часто подгонял маленького Моше, чтобы он был расторопнее и живее, не пристало человеку встать, разинув рот, и стоять посреди улицы, точно глупая курица. Но потом я понял, что таким образом он познает мир. Я не шибко умный, а и сам – нет-нет да и примечу что-нибудь эдакое. Диковинное растение или необычные годовые кольца на дереве. Это хорошо, что он не пронесится сломя голову мимо красоты и беды. Хотя деньгами таким стоянием не разживешься.

Моше, как зачарованный, смотрел на редкие капли из окна комнаты, где прежде была едальня, я не запретил ему, не велел отойти от окна и опоздал. Не сразу заметил, что после дождя на улице, как грибы, появились полицейские. Они рыскали по хатам, значит, Гроза еще не закончилась. Я опоздал, но ведь разве мог я подумать, что это не чучело, я и допустить не мог, что это не кукла такая, да вот только, что верно, то верно, откуда, скажи мне, откуда здесь взяться таким большим и красивым куклам, старый ты дурак, я поздно спохватился, поняв, что за странную куклу тащит за ножку полицейский, ее звали Хая-Гита, то была наша четырехлетняя соседка. Ее головка билась о булыжники брусчатки, оставляя на камнях красные следы. Я замешкался, и Моше все увидел. Все увидел, сердобольный, как пить дать, хотя я подбежал и тут же ладонью закрыл ему глаза. Сын вздрогнул, как от удара, вздрогнул от моего прикосновения, от увиденного, от сырости, проникающей с улицы, от страха.

Нужно куда-то бежать, где-то спрятаться, что-то предпринять, ладонь, прижатая к лицу Моше, стала мокрой, как мох на крыше, из кухни донесся плач младшей дочери, сдавленный и горький, я слышу, как Гута пытается успокоить ее, моя Гута, которая сама нуждается в утешении, слышу ее плохо сдерживаемые рыдания, слышу влажный шепот Моше у моей груди: я не хочу умирать, слышу шаги на крыльце, отец, я не хочу умирать, слышу шаги в сенях, шаги на кухне, шаги на пороге, глухой звук падающего предмета.

Я больше ничего не слышу.

Всем известно, что жар-птиц не бывает, но Уля подошла на перемене и говорит, мол, так и так, у меня есть несколько перьев жар-птицы, могу поделиться, если надо, потом мне папа еще привезет. Жар-птица жила в одной Бабиной сказке и на красивой новогодней открытке, которую прислали мамы родственники, поэтому я решила, что это название какой-то книжки, «Перо жар-птицы», и Улин папа купил несколько экземпляров одинаковых, спросила у нее, кто автор и что она хочет взамен.

Автора нет, это просто перья, пушистые такие, понимаешь? – из жар-птицы, самые обыкновенные, точнее не, ничего мне не нужно взамен, если берешь, пойдем после школы ко мне домой.

Всем известно, что жар-птиц не бывает, но, пока Уля открывала дверь квартиры, я вообразила, что у нее она действительно живет. Почему знать, может, ее папа поймал целую птицу в силки, и они держат ее взаперти, иначе откуда бы ему набрать перьев? – и сейчас она где-то бьется в комнате, вся золотая и сверкающая, как в сказке о Коньке-Горбунке, и пытается вылететь в окно или гостеприимно выйдет нам навстречу, обьятая таинственным свечением, похожая на оранжевого павлина, только побольше.

Но навстречу, кроме запаха горохового супа с мясом, никто не вышел.

Все-таки любопытно бывает поглядеть, как живут другие люди, у кого темно, потому что лампочка перегорела, а у кого – потому что дневной свет почти не проникает в окна. Улина мама – учительница, тем более интересно. Мне казалось, что квартиры учителей должны быть непременно какими-то особенными.

У географов, конечно, все вертится вокруг атласов, глобусов и карт, у математиков – вокруг цифр и формул, у учителя по физкультуре в комнате гимнастический козел и канат висит, у преподавателей языков – пособия и книги на каждом шагу. Но в Улиной квартире книг не оказалось, наверное, учителю по обществоведению они не нужны, он ведет общество неведомыми мне пока тайными тропами, самостоятельно, без всякой помощи.

В остальном квартира Ули мало отличается от других известных мне квартир, разве что цветом мебельной стенки и сыростью в углах комнат – характерными серыми пятнами на обоях, спутниками всех валсарбских первых этажей.

Уля открывает лаковую шкатулку и хвастается мамиными золотыми сережками, потом показывает кольцо в коробочке и столовый сервиз, кажется, она и забыла, зачем позвала меня к себе.

В комнате прохладно и темно, она не уверена в себе, своем уюте и чистоте, на диване лежит большой халат, непонятно, мужской или женский, лежит, как больной с приступом аппендицита, скукожившись в неудобной позе, на журнальном столике вязаная салфетка, на телевизоре – пыльный след. Тяжелые гардины задернуты наглухо, первые этажи притягательны для любознательных граждан.

Наверное, я лучше уже пойду, кстати, у нас тоже такой сервиз, я пойду, еще же уроки делать, а я тебе знаешь что сейчас принесу, перебивает она, папайю, ты ела когда-нибудь папайю, нет, конечно, даже не представляю, как она выглядит, а вот сейчас увидишь.

Когда человека приглашают в гости, его принято чем-то угощать. Так мама делает. Она угощает своих гостей чаем, и эти гости всегда, как Цокотухины букашки, пьют по три чашки, не меньше. Иногда за такими чаепитиями возникает душевная атмосфера. Иногда душная. В зависимости от гостей.

Чая у Ули, возможно, и нет, а есть экзотический плод, и поделиться им ей не с кем, она тоже одна в семье, полная и смешливая болтушка, немного напоминающая мою Бабу, только, конечно, поменьше, с мамой-учительницей и совсем без книг. Она позвала в гости именно меня, и это выглядит подозрительно.

Я вдруг чувствую себя уязвимой, есть шанс, что она решила посмеяться надо мной и за всем этим последует какой-то розыгрыш, за три года в школе я успела если не привыкнуть к этому, то научиться держать ухо востро. Но Уля несет мне малюсенький кусочек папайи, мне приходится поверить, что это папайя, и съесть ее, и еще немного посидеть в кресле для приличия, подбирая слова, потому что вдруг не о чем стало говорить.

Тебе тоже одиноко в нашем классе, Уля, да, точно, как я раньше не догадалась, что вовсе не одиноко, ты действительно дружишь со всеми, если со всеми вообще можно дружить.

Можно, я приглашаю к себе домой всех девочек по очереди и наблюдаю за ними со стороны, потом выберу себе подругу по душе, пока не знаю, кто это будет, может быть, Нина, потому что она отличница, а может быть, Тонька, мы с ней обе толстые, хи-хи, значит, у нас много общего, и у нее родители порядочные, вот у тебя, например, мне нравится почерк, такой круглый и ровный, научишь меня так писать? Научу, только не знаю, как этому научить, пожимаю плечами я. А ты напиши мне дома алфавит своей рукой, напиши мне, пожалуйста, а я потом потренируюсь буквы копировать. Я никому не говорила, только тебе скажу, один человек мою проверку не прошел, пока я ходила за папайей, она попыталась украсть мамины серьги, представляешь, я быстро вошла в комнату, а она стоит с открытой шкатулкой, потом она оправдывалась, краснела, бледнела, но я ей не поверила, вот так ходишь в школу, а с тобой учится вор, но я тебе все равно не скажу, кто это. Больше всего я хотела бы дружить с Лариской, но она слишком зазнается, так что у тебя есть шанс стать моей лучшей подругой, не забудь завтра

образцы почерка принести, хотя Нину я рассматриваю тоже, все-таки она отличница.

Я благодарю за папайю: маленький желто-розовый кусочек чего-то твердого и липкого. Уля вызывается проводить меня и на пороге вспоминает о перьях. Перьями жар-птицы оказываются черно-белые страусиные: жидкие нитевидные пушинки, болтающиеся на тонком стержне. Я не спрашиваю, почему она выдает их за жар-птичьи. Похоже, ее саму в этом убедили. Уля великодушно позволяет выбрать любое. Превозмогая непонятное отвращение, я беру темное, самое маленькое перо, зная, что вряд ли принесу его домой, скорее, нечаянно потеряю на какой-нибудь клумбе или в непроходимых зарослях крапивы возле хозпостроек.

Наши с Улей дома разделяют дикие кусты и несколько рядов ветхих сараюшек, где держат кур, гусей и даже свиней. Тем, кому нельзя поселиться в многоэтажном доме с хозяевами, приобретают жилища поближе к земле. Собственниками они становятся ненадолго, хотя живут сыто и счастливо, пока смерть не разлучит их с кособокими лачужками, в которые хозяева подберут новых арендаторов.

Мы благополучно минуем первый визжащий и хрюкающий ряд свинарников и, выйдя на финишную прямую, с ужасом замечаем Валета. Он сидит на нашем пути и наблюдает за тем, что происходит вокруг, равнодушным, стеклянным взором. Или голодными волчьими глазами. Так сразу и не разберешь. Я крепко сжимаю Улину руку, она отвечает мне тем же, мы стоим, как истуканы, покорные судьбе, Валет тоже сидит неподвижно, но ничто не мешает ему броситься на нас и покусать или повернуться и уйти восвояси, что было бы лучше для всех. Собственно о том, что Валет – это Валет, говорит Уля, мне его имя неизвестно, я знаю только, что безумно боюсь собак, и одна из них сейчас у нас на пути.

Давай ты меня проводишь еще поближе к дому. А сама я как буду возвращаться? Понимаешь, в позапрошлом году в Заборных меня укусила собака, знаешь, такие псы на привязи, которые стерегут огород, обычно дико злющие, им не хватает еды, свободы и чувства собственной значимости. Она умудрилась укусить меня в прыжке, ее цепь оказалась достаточно длинной для того, чтобы добраться до моей коленки, а мне места для маневра не хватило, я не сумела ее обойти. Теперь я боюсь собак просто до дрожи. Я тоже, Уля отрицательно мотает головой, я пойду домой. Постой со мной еще немного, когда он уйдет, сбегает ко мне на чай. Он ни на кого не нападал, этот Валет? Не знаю, он постоянно здесь ошивается, сколько его ни гоняли, пока, увидимся, до завтра!

Уля!..

Уля исчезает без оглядки, словно опасаясь, что, обернувшись, обратится в соляной столп. Поблизости больше никого не оказывается, ни одного школьника, ни одного взрослого, прикрывшись которыми, будто щитом, можно было бы с невозмутимым видом обойти пса. Валет поднимается и идет прямо на меня, слегка помахивая хвостом. Не выдержав напряжения, я в ужасе ретируюсь, минуя сарай и чернеющие осенние грядки, минуя скамейки и мотоцикл на стоянке, назад, в Улин подъезд.

Валет неспешной рысью провожает меня и усаживается у двери. Я наблюдаю за ним в дверное оконце и понимаю, какую ошибку совершила, не побежав дальше, вокруг, обходным путем до своего дома.

Мне никогда не везет, особенно с людьми. Когда они нужны мне, рядом, как правило, никого не оказывается, дяденька дяденька помогите мне пройти через собаку то есть мимо собаки понимаете я очень боюсь собак, я могла бы сказать, но мне некому это сказать, остается лишь отче наш суший на небесах, Боженька, помоги мне, пожалуйста, ты мне сейчас помоги, а я тебе потом все-все сделаю, что Ты захочешь, но Боженька никуда не торопится и ему ничего не нужно, он занят важными делами и редко отвлекается на меня, а если отвлекается, то не вникает в подробности, никого не посылает на помощь и навстречу чтобы. Проходит вечность, прежде чем Валет теряет интерес ко мне

и своему посту, убегает, привлеченный запахом или звуками, даруя мне волю и захлебывающиеся удары сердца. Четыре, шесть, семь, в крайнем случае восемь минут, но не больше десяти я бегу до своего подъезда, быстрее, повернуть за угол, быстрее-быстрее, второй пролет, третий, пятый, пока ступеньки не приводят меня прямоком в объятья к сидящему на лестничной клетке, сутулому, как цифра шесть, удивительно грустному папе. У него такой скорбный вид, что у меня падает сердце.

Ты. Ты так рано. Ты никогда раньше. У меня машина сломалась, рейс отменили, и нет ключа от дома. Надо же, именно сегодня, именно сегодня я настолько задержалась, а ты пришел раньше. Ничего, не страшно, дочушка.

А я тоже была в подъезде, в чужом подъезде, ты здесь, а я там, я так долго пропадала, потому что боюсь собак.

Я обхватываю его широкую грудную клетку, навалившись всем весом, он смеется, его усы пахнут табаком, а куртка бензином. К папе можно прижаться крепко-крепко, даже если он растеряется от неожиданности, то все равно не подает вида, только похлопает по спине. Он и сам время от времени меня обнимает. Просто мы редко видимся. С мамой мы видимся часто, но обняться не решаемся. Между нами будто стоит шлагбаум, красное заграждение, как на железнодорожных путях. Раньше я думала, что мама никогда и никого не обнимает, потому что не любит обниматься, но потом несколько раз замечала, как она обнимает Алю при встрече. Думаю, это потому, что Аля маленькая и хорошенькая, ее все обнимают. Когда человек вырос, сложно догадаться, нуждается он в объятьях или нет.

Дома оказывается, что уже четверть пятого, значит, я задержалась больше чем на два часа. Теперь, когда все позади, мои трагикомические приключения кажутся смешными и не достойными пережитого волнения, заканчивая живописать их папе в лицах, я ожидаю, что он развеселится вместе со мной, но он только задумчиво мешает ложкой в супе и говорит: запомни, дочушка, друг никогда не оставит тебя одну с собакой, одну в беде или в горе.

А я и сама уже успела понять, что Уля не выбрала меня в друзья. Мне только жаль того времени, которое мы с папой провели порознь в подъездах.

Здесь так дует, такой ветер и так холодно всегда, мне жаль Тебя из-за этих пронизывающих ветров, Валсарб – город-ветер, несметное количество озер приносят эти воздушные течения со всех сторон, их воронка находится именно здесь, именно рядом с Тобой. Впрочем, Ты не чувствуешь холода, голода, боли, ничего, кроме страха, что Тебя забудут, что о Тебе не узнают, что я вырасту и исчезну тоже, как ворон, который сто лет жил неподалеку и успел стать единственным Твоим товарищем, вещая смертным свои предсказания или придиричиво выискивая на дороге медлительный живой корм, пока однажды не зазевался и не опоздал взлететь: ВАЗ-2101 размазал его по проезжей части, остались одни крючковатые когти. В любую пору года ветер мечется здесь, будто умалишенный, не знающий покоя, словно не может отыскать выход, вот уж точно, выхода отсюда нет, пропитанная кровью земля маринуется в собственном соку памяти, со скуки расставляя ветру ловушки. Он трясет сосны за плечи, ломает сучья, бросает под ноги шишки, расстилает колючие хвойные ковры с густым запахом живицы. Она помогает при бессоннице, но не Тебе. Тысяча людей рядом с тобой спит, но не Ты. И я не знаю, как Тебе помочь.

Я стою с Тобой рядом, поддаваясь порывам ветра, и утешаю Тебя, и утешаюсь Тобой, Твоя память лишает меня настоящего, и я ничего не помню, забываю свои горести, пролитый клей, оторванную манжету, обидные прозвища, мамино равнодушие, папино отсутствие, Ты оберегаешь меня, Ты утешаешь меня, Ты прощаешь меня, теа суфра, теа суфра, незнакомый парень с сумочкой на боку, смотришь на меня прозрачными глазами, хочешь, чтобы я позвала Тебя по имени, но я не знаю Твоего имени, его нет ни на одной из табличек, в этом-то и дело, иначе я была бы не нужна Тебе, и Тебе тоже. А этот мужчина-памятник,

венчающий монумент, не в силах одолжить Тебе свою верхнюю одежду, хотя (наверное) Тебе не бывает холодно, голодно и больно.

Пока в школе несут разумное, вечное и прочую ерунду, мне остро необходимы чье-то одобрение и поддержка, но человека, способного их дать, у меня нет. У меня есть только Ты и Дед. Но я не знаю, как ему рассказать о Тебе. Зато Тебе я могу рассказать все.

Видишь ли, я всегда сомневаюсь в своих силах, способностях, возможностях. Думаю, это началось с пианино. Я мечтала о нем лет с пяти, а родителей одолевали сомнения. Пока в своих грезах я виртуозно исполняла какое-нибудь ужасно сложное произведение, по меньшей мере – Римского-Корсакова, родителей одолевали сомнения. Пока я скрюченными пальцами играла арпеджио на чужих инструментах, родителей одолевали сомнения. Пока я бегала к Тане и подбирала на слух любую мелодию в мире – боже, да ты можешь подобрать любую мелодию в мире! – родителей одолевали сомнения.

Причины сомнений у родителей были разные. Получится ли у меня? Не слишком ли дорогой инструмент для такого маленького ребенка? Куда инструмент поставить в комнате? Куда деть, когда ребенок бросит на нем играть? (Что я обязательно брошу, сомнений не вызывало.)

Сомнения и их причины были разные. Результат один.

В меня не верили. Мне не верили. Теперь я перестала верить в себя.

В музыкалке мне не нравится, на фортепиано я опоздала и уже не прохожу по возрасту, другие инструменты не привлекают. Но внезапно обнаружилось, что мне нравится заниматься сольфеджио и что у тетрадей для нот очень вдохновляющие линейки, в которых можно писать стихи. Бисерные слова в тетрадях для музыки. Дважды зашифрованный нотный стан, если закодировать слоги в ноты. А можно организовать слова во времени, написать стихотворный вальс на четыре четверти или ритмичный блюз на семь восьмых. Но чаще я пропадаю в чаще зеркальных слов: камнерез – зерен мак, новотел – лето вон, актиния – я и нитка, радиатор – рота и дар.

И еще я научилась забирать Тебя с собой, чтобы Ты помогал мне не только здесь, но и когда я далеко отсюда. Не спускай с меня глаз, пожалуйста, не спускай с меня глаз.

У меня слева есть дверца. За ней копится тоска. Начинает в ноябре, когда время застывает: выкл. И длится, продолжается невыразительными, холодными вечерами. К апрелю порядочно собирается. Но когда с улиц, обескровленных зимой, снег сходит на нет, дверца открывается и, немного покачиваясь на ветру, впускает в меня новые впечатления, они впечатываются внутрь, и тиски тоски заменяет радостное томление. Невозможно объяснить, что это. Такое трепетное чувство, я пока не придумала ему имя.

Мир весной подобен канве на огромных пальцах, если солнце в духе и не привередничает, как капризная барышня на выданье, пестрая вышивка довольно быстро заполняет ткань-основу, пробуждая все сущее. Гладкое мулине посверкивает бисером инея или росы, воздух от птиц по швам трещит. А потом наступает Пасха.

Пасху я люблю больше других праздников. Даже больше Рождества и Нового года. Ходишь кругами два дня и поглядываешь любовно на все красные, зеленые, синие и фиолетовые яйца, желтые почти никогда не получают, желтый – нестойкий цвет. Нужно в луковой шелухе окрашивать, так полезнее, говорит соседка тетя Зоя, жили мы раньше и не знали никаких красителей, дать вам шелухи?

Когда вся шелуха приготовлений опадает, можно ложиться спать в предвкушении

чуда.

Вельканоц – великая ночь воскрешения, плавно перетечет в многообещающее, хрустальное утро ранней весны, с серебряными нитями на робкой траве и хрустящими битыми стеклами луж на асфальте.

В костел поднимаешься затемно, всегда хочешь одеться понаряднее, в тот легкий плащик, который так соблазнительно маячит в шкафу, однако понаряднее нельзя, пока холодно, говорит мама, но весна же, весна, думаешь ты, протирая сонные глаза, потом уступаешь, воодушевляешься, самое главное, о чем нельзя забыть: свенцонка – яйца и соль в платочке. Мама остается дома, у нее будет другая Пасха, через неделю, мы идем с папой вдвоем, но на самом деле с нами идет весь Валсарб.

Самые ревностные католики уже давно сидят в лавках: преимущественно старики, наши бабушки и дедушки, верующие в Бога-Отца чуть больше и правильнее своих детей, которые, в свою очередь, ведут их внуков к Сыну Божьему, поправшему смерть, весенними ручейками стекаясь из всех закоулков и подворотен в одном направлении, обмениваясь улыбками и рукопожатиями. Сладко и немного болезненно сжимается в груди от предвкушения чего-то неведомого, не до конца понятного, но совершенно точно приятного. Ленивое солнце водит над сводами храма пухлыми пальцами-лучиками, цветные оконные витражи оживают под его теплом, на улице не слышно слов мессы, только орган отзывается вдали тихим колокольчиком.

Нарядный и торжественный Владик топчется у каменного парапета перед костелом, я машу ему рукой, и он смущенно улыбается в ответ. Дядя Митя пытается уговорить расшалившихся младших братьев. Папа направляется к ним, я бегу навстречу тете и Але. Аля смотрит вокруг темными бусинами глаз, ей еще не приходилось видеть столько народу сразу. Тетя решительно полагает, что это возможно: войти внутрь костела, минуя все очаги столпотворения. Нам с Алей смешно, потому что мы без конца топчемся по чьим-то ногам. Пребывая в радостном возбуждении, мы окончательно забываемся и распускаемся, от рук отбиваемся, и, когда я, как старшая, ловлю на себе несколько чужих укоризненных взглядов, мне приходится напомнить себе правила приличия и поведения в храме.

Вместе с тем меня переполняют различные сведения, и мне не терпится поделиться ими с Алей. Разумеется, она не может знать всех святых, которые живут здесь на каждом углу, ведь она пока не ходит в костел так часто, как я. Ей невдомек, сколько волшебства творится здесь, если хорошенько приглядеться. Однако нам не удастся пробраться за пределы притвора. Тетя целиком и полностью погружается в молитву, я вспоминаю, что хотела показать Але, какое красивое яйцо себе выбрала, но все яйца остались у папы. Нестройный хор верующих запекает «Аллилуйю», тетя фальшиво вторит ему, в толпе начинается волнение, людской поток немного продвигается вперед и открывает нашим с Алей взорам большое распятие у входа.

Пока Аля серьезно разглядывает его, я пытаюсь вполголоса объяснить ей, что это и есть тот самый Иисус, который сегодня воскрес, то есть восстал из мертвых. Совершенно непонятно, понимает ли Аля значение слова «мертвый». Но Аля, кажется, уже прониклась моими словами. Или вовсе их не слышит.

– Осторожно! Упадёс! – сочувственно предостерегает она, обращаясь к распятию.

Я озадаченно смотрю на Христа.

Иисус-гимнаст в терновом венце как ни в чем не бывало висит на своем кресте, хотя сегодня у него выходной.

Тепло отзывается внутри стремительной нежностью, вызванной березовыми сержками, которые валяются у нас под ногами, когда мы идем с Таней в школу, самолетными следами на небе, которые чертят свои небесные графики,

благоуханием черемухи, которой я дышу, болтаясь по запретным улицам после занятий. А в подъезде теперь пахнет краской. Краска вообще такой весенний запах. Зимой ничего не красят, не трут, не моют. Все по весне. Еще весной трансформируются юноши. Зимой они шустро, но суетно шмыгают мимо старушек-соседей, бросая на ходу: «З-с-тии», – и исчезают в зимних вечерних сумерках. А по весне вылетают из подъезда, как грачи, более вальяжными и оперившимися, говорят бабушкам уже громкое «здр-а-асс», уверенно седлают велосипеды, как в иные времена – коней, и уносятся куда-то – юноши с горящими взорами. Ближе к лету привозят на раме каких-нибудь заколдованных царевен Несмеян, ведут их к себе домой, не всегда доходят до квартиры и целуются прямо на лестничной площадке. А потом у них свадьба. Весь подъезд отирается на пороге, колготится в ожидании молодоженов, не все приглашены на торжество, а посмотреть хочется.

Особенно на невесту.

Особенно нам с Таней. У нее новое нарядное платье, она идет в гости. Платье похоже на пирожное, наверное, и в гостях будут пирожные, ей никакой свадьбы не надо. Но если молодожены поторопятся, а Танины родители – нет, мы с ней все увидим вместе. Пока мы невозмутимо слоняемся у ее подъезда, делая вид, будто происходящее нас не касается. Рядом с ее подъездом – огромная лужа. Рядом с лужей – ограниченная Марыська, девочка из одной душевно и умственно ограниченной семьи, которая живет в нашем доме. У нее некрасивое лицо, она не умеет разговаривать и от нее всегда плохо пахнет. Одежда на ней перепачканная, зато сапоги резиновые. Можно чудно шлепать по лужам, на зависть неограниченным. Можно так нашлепать, что брызги полетят, ей-то все нипочем.

– Отойди! – грозно кричит Таня.

Марыська назло делает: плюх.

Таня пятится и падает на землю. Точнее, на серый, влажный, равнодушно грязный асфальт. Тише, Танечка, не плачь. Больше всех плакало Танино новое, не погостившее платье. Таня поднимается и толкает Марыську в лужу. Обе режут и разбредаются по домам.

Спустя минуту подъезжает свадебный кортеж. Из первого автомобиля выходит Царевна Несмеяна в белом. Хорошо, что у того подъезда нет ни луж, ни Марыськи в резиновых сапогах.

Доктор Нарбут идет со мной по коридору больницы. Он вышел впотьмах, спозаранку, чтобы проводить меня до палаты. Ходит он тайными тропами, а его дом находится под землей, называется склеп. Доктор Нарбут до сих пор там живет, хоть все и говорят, что он давно умер, но я-то знаю. В его склепе стоит большой деревянный стол, на нем разные лекарства. Есть одно лекарство, помогающее от всех болезней. Он его сам создал, но людям не отдал. Чтобы ни у кого соблазна не возникло самолечением заняться. Никогда не знаешь, вдруг что-нибудь пойдет не так. Вдруг возникнут какие-то побочные эффекты. Не стал рисковать, в общем. Ведь одной девочке уже попалось как-то зелье с надписью «Выпей меня», хорошо еще, что она не всю бутылочку выпила, могла бы не просто уменьшиться, а, чего доброго, и вовсе исчезнуть. В левой руке у него трость, в правой керосиновая лампа, которой он освещает путь. По стенам и дверям перемещаются наши с ним тени – вытянутые и угловатые. Он одет не по сезону – в длинный однобортный сюртук и высокие сапоги. Я предпочитаю летом носить платье. Но сейчас на мне пижама, и было бы неплохо накинуть кофту.

Мы заходим в палату, он молча указывает мне на кровать, лампа гаснет, и я ничего не вижу. Меня пробивает озноб, я сажусь, шарю рукой в темноте в поисках того, чем можно укрыться. Так и есть: одеяло сползло на пол. За спиной ледяная стенка, ночи темные, безлунные и холодные, из небытия прорастает память о том,

как жаль тратить лето на больницу, как тоскливо в этой старой комнате. Ни одной книги мама так и не принесла. Все домашние мною уже прочитаны, а купить новую – задача не из легких. У мамы нервы и работа – не стоит просить.

Я лежу четвертый день, глядя то в стену с облупившейся штукатуркой, то на три пустые кровати – в палате никого нет. Нет других детей, которые объелись бы черникой до острого отравления. Но врачи сказали, что дело не в чернике и «нужна полная картина». Картина нужна для того, чтобы поставить точный диагноз. Сначала я гадала, откуда они возьмут эту картину? – но потом решила: будь что будет; давала себя ощупывать и послушно кивала: да, болит животик, и выше тоже, да. То, что выше, называется желудок, сказал доктор. Не Нарбут, а другой, но тоже хороший. А картину, как оказалось, не рисуют и даже не фотографируют, а наблюдают. Для этого, сказал доктор, нужно проглотить зонт. Так и сказал. Я точно расслышала, что зонт. Мама поохала, покачала головой, несколько раз заверила меня, что все будет хорошо, и ушла «собирать список». В этом списке вещи, необходимые для нахождения в больнице. Жаль, что туда не попадают совершенно необходимые книжки. Сейчас у меня уже не болит ни живот, ни желудок, никто больше не говорит про глотание зонта, и я даже съедаю до конца жидкое картофельное пюре, немного кисловатое на вкус, и покорно пью все таблетки, которые приносят медсестры. Медсестер две: Первая – Бабина ровесница, только у моей Бабы нет таких рыжих пушистых волос, если одуванчик покрасить, получилось бы похоже. Вторая – молодая, как мама, но лицо у нее злое, и губы она красит жуткой помадой цвета борща со сметаной. Переливаются эти губы перламутром, живут отдельной жизнью на ее недобром лице, а потом снова и снова повторяют во сне: «Как минимум десять дней». Это она сказала, эта медсестра, в первый день: «Вашу девочку продержим как минимум десять дней».

С одной стороны, мне не хотелось оставаться одной так надолго. С другой – родители беспокоятся обо мне, а это приятно. Болезнью я обратила на себя их внимание. Поначалу хотелось всплакнуть, но, пожалуй, пора с этим заканчивать, недавно мне исполнилось десять. В тот день папа был торжественен и серьезен, присел за письменный стол и сообщил, что это мое последнее лето детства. Он очень редко заговаривает со мной и почти никогда не заходит в мою комнату. Поэтому я растерялась и не решилась спросить, что он имеет в виду. Может, со следующего года летние каникулы отменяются? Неужели в средней школе учатся круглый год без отдыха? А я лежу здесь, и проходит мое последнее лето детства.

Когда становится совсем тоскливо, я воображаю себя Козеттой – брошенной и несчастной. Самый желанный подарок для меня сейчас – это «Отверженные» Гюго, и я не знаю, что нравится мне сильнее – уже одно только звучание этого слова «отверженные», немного перекликающегося с моей фамилией, или сюжет, которым я впечатлилась, посмотрев о книге телепередачу. Впрочем, мама утверждает, что я не доросла до подобной литературы, и, по обыкновению, венчает свою проповедь уверением, что я все равно ничего не пойму. Можно подумать, она знает, что я в состоянии понять, а что – нет. Взрослые часто интересуются своими детьми не больше, чем я бывшими людьми, которые являются мне в непредсказуемых, суматошных видениях, но я уделяю им внимание, в отличие от вечно занятых взрослых. Вот и доктор Нарбут что-то хотел поведать, но исчез, потому что я случайно посмотрела в мрачное больничное окно.

Наручные часы, подарок ко дню рождения, показывают восемь ноль семь. Почему-то не несут завтрак – странно.

В коридоре цокают каблуки. Так ходит только Вторая. Я прислушиваюсь и юркаю под одеяло – совсем тоненькое, несогревающее.

– Собирайся! На ФГДС! – громко и четко артикулируя, объявляет Вторая в приоткрытую дверь.

Нужно куда-то идти, и Вторая пришла за мной.

– Неллочка, а что там с анализами Стаценко? – спрашивает Вторую доктор.

– Он не пишет, Иван Геннадьевич. Ему объяснили, что почки нельзя перегружать жидкостью, он воспринял это буквально и ничего не пил вчера – ни кисель, ни компот. А сейчас пописать не может...

– Что же вы, Неллочка!

Где-то громко хлопает дверь, Вторая заглядывает в палату, ее взгляд изучающе скользит по пустым кроватям.

– Возьми с собой полотенце.

– Зачем?

– Возьми.

Я стягиваю со спинки стула лимонное полотенце с утенком и плетусь за медсестрой. На двери кабинета написано: КИТ КАРП-РОТ КОД. Но никакого доктора-практика здесь нет, только небольшой шкаф, стол и четыре кушетки.

Никто не предупредил заранее, что придется глотать эту тонкую длинную кишку, похожую на бесконечного рыжего глиста. С ней внутри придется пробыть больше двух часов, ожидая, пока она высосет из меня все соки. Глист «покажет картину», которую доктор будет разглядывать. Точнее, изучать. О моей дальнейшей судьбе после высасывания всех соков науке ничего неизвестно. Десять пробирок, – говорит Вторая, – нужно десять пробирок.

Время тянется, как вчерашняя жвачка без вкуса, минуты затаились, сговорились и начали обратный отсчет, мне назло. Секунда вперед – три назад. Это никогда не закончится, ведь набрали только три пробирки, а мне уже дурно. В любой тревоге я призываю Бога, пытаюсь молиться и искать какой-то смысл. Нет смысла в вонючей резиновой трубке, которая проникла в мое нутро. Я стараюсь не думать о ее содержимом, не смотреть на свисающий из моего рта полуметровый хвост. Мне нечем отвлечься, и меня некому отвлечь. Медсестры упархивают по своим неотложным делам, поочередно являясь раз в сто лет, будто эринии, подвергнуть меня унижению – набрать новую пробирку. Я воображаю себе всякое хорошее, что со мной случится, когда я выйду из больницы. Представляю, как поеду на Великую к Деду, как пойду в гости к Але, как сбегу к Тебе в сквер, какую книгу возьму у Тани. Обещаю себе беспечный полдень, вкусный полдник и полцарства. На седьмой пробирке медсестра говорит, что мне лучше полежать, потому что может начаться головокружение. В какой-то момент я ощущаю, что у меня взмокли ладони, теряю индивидуальность, самоидентичность и силы, становлюсь частью рыжей кушетки, с которой свисает рыжий шланг, изучающий потертые рыжие доски пола. Сначала кушетка оживает, облепляет своей холодной дерматиновой кожей, предлагает: давай поиграем в одушевленное-неодушевленное, потом я сама становлюсь кушеткой, потом я становлюсь ничем, потом меня выключают. Дерни за веревочку, Красная Шапочка. Чтобы вернуть себе себя, я выдергиваю кишку. Любимое полотенце мгновенно становится мокрым и противным. Вторая возмущается и угрожает: «Завтра придется глотать повторно...» Первая разделяет мое горе и прижимает к себе, пока я плачу и возвращаю себе свое горло, могущее всхлипывать и говорить, жизнь и гордость.

– Теперь тебе будет не скучно. – Выходя из палаты, Первая кивает на кровать возле окна.

Поначалу я даже не заметила. Забившись в угол, между стеной и окном сидит кто-то бледный, тощий и белобрысый. Короткие грязные волосы небрежно торчат во все стороны. Пока я озадаченно разглядываю этого чудного соседа, он тоже

пристально наблюдает за мной и долго молчит, когда я спрашиваю его имя. После короткой паузы раздается тоненькое: Кристина, со смешно грассирующим «р».

А я уже уверила себя, что Кристина – мальчик. Тем временем Кристина, потеряв ко мне интерес, вылезает из-под одеяла, садится на край кровати и таращится в окно, за которым ничего интересного нет, я точно знаю, только куча дров, которая со вчерашнего дня немного уменьшилась, потому что похолодало. На Кристине бледно-лиловый фланелевый халат, очень вылинявший, а может, просто грязный. Я вспоминаю о своем полотенце, оставленном в процедурном кабинете, и новой зеленой пижаме.

– У тебя тоже желудок или что-то другое?

Кристина не отвечает, даже бровью не ведет.

По случаю столь возмутительного игнорирования можно было бы объявить бойкот, но это глупо, мало ли: может, она не расслышала вопроса.

– Банан хочешь? – Я вытаскиваю из тумбочки связку бананов, отрываю один, протягиваю Кристине. – У меня желудок. Больше почти ничего есть нельзя. Особенно чернику.

Кристина молча смотрит на банан, на меня, улыбается, обнаруживая нехватку верхнего зуба слева, но не подходит.

– Не стесняйся. – Я кладу банан рядом с ней. – Я вообще-то тоже жутко стеснительная...

Кристина берет банан и тянет в рот вместе с кожурой.

– Ты что?! – Поверить невозможно. – Так нельзя! Ты, что ли, бананов не видела? Отдай, я покажу, как надо...

Кристина прячет банан за спину, все так же улыбаясь.

– Как хочешь...

Я демонстративно снимаю кожуру со своего банана. Кристина следит за процессом, как новорожденная обезьянка.

– Тебе сколько лет, если ты бананов не видела?

Кристина послушно растопыривает пятерню.

– Не может быть, чтобы пять. У тебя почти все зубы поменялись. Тебе точно восемь... Вот в какой ты пойдешь класс?

Кристина сосредоточенно пытается очистить банан пальчиками с крошечными обгрызенными ноготками, снова игнорируя вопрос.

– Скоро будет тихий час, а я даже не завтракала, представляешь? Но потом придет мама и, наверное, что-нибудь принесет. А к тебе кто-нибудь придет?

– Мама, – эхом отзывается Кристина. – Завтра.

– А ко мне каждый день приходят. И бабушка приходит, когда получается. И папа тоже. Вчера мне принесли альбом и карандаши, но я ничего не нарисовала пока. Будешь рисовать?

Кристина кокетливо улыбается, откладывает неочищенный банан в сторону.

– Я тебе дам альбом, а себе вырву лист. Я могу и не на твердом рисовать.

Кристина долго смотрит на карандаши и разглядывает белые альбомные листы,

еще дольше раскладывает все это на кровати, предварительно встав на колени, прямо на полу, и наконец начинает что-то сосредоточенно выводить на бумаге. Скучно рисовать молча. Я то и дело поглядываю на соседку. Странная она какая-то, эта Кристина.

– А ты на какой улице живешь?

– Я в доме с бабушкой живу. У нас дрова и озеро. Бабушка меня любит.

– А как же мама с папой? Где они живут?

– Показать тебе? – вопросом на вопрос отвечает Кристина, протягивая рисунок и не поднимаясь с пола.

Я присаживаюсь на край ее кровати.

– Это кто?

– Мама, папа и я. – Кристина тычет пальцем в рисунок, акцентируя внимание на себе.

– А что это у папы твоего за палка?

– Топор, – говорит Кристина. У нее получается «топог». – Хочешь, я тебя причешу?

– Давай.

Глухо бэмкает кровать, карандаши по одному катятся к подушке, Кристина в два счета оказывается у меня за спиной, стягивает с волос резинку, перебирает мои длинные волосы.

– У тебя есть расческа? – неуверенно спрашиваю я.

– Не надо.

– Как хочешь... А ты о чем мечтаешь? Ну, кроме того, чтоб выйти отсюда...

Но сосредоточенная на будущей прическе Кристина не отзывается.

– А я очень хочу одну книжку. Нет, я много хочу книжек. Но эту – особенно. «Отверженные» называется. Об одной девочке, Козетте. Она осталась сиротой и работала на злую тетку и ее дочек. А потом пришел Жан Вальжан, сначала подарил ей красивую куклу, а потом забрал Козетту с собой, спас... ну, как бы из рабства. И они никогда не расставались... Я кукол не люблю, а ты? Книжки лучше.

– Ты – кукла, – говорит Кристина.

– Как это?

Кристина отпускает мои волосы, вытаскивает из кармана своего lined халата маленький осколок зеркала, быстро глядится в него, сует обратно и принимается доплетать мою косу.

Когда на пороге возникает Первая с небольшим подносом и объявляет начало тихого часа, я покорно плетусь к своей кровати. Но сначала Кристиночке нужно поставить укольчик, говорит медсестра.

От Кристининого истошного вопля мне хочется провалиться сквозь землю, но, отпрянув, я продолжаю стоять на месте. Точно дикий зверек, Кристина забивается в угол, рыдает и сопротивляется. В палату с фирменным цоканьем стремительно заходит Вторая, растягивает в притворной улыбке свои фиолетовые губы, сюсюкая, неестественным голосом говорит, что это не больно, что такой большой девочке не пристало бояться, что Кристина испугала соседку, еще немного, и переполошит

всю больницу. Не кричи, не кричи, тише.

Пока нерасторопная Первая пытается стянуть с девочки колготки и не выронить шприц, не переставая вопить Кристина оказывается на соседней кровати.

– Прекрати орать! – чеканит Вторая. – А ты выйди. Выйди!

Мысли путаются и прыгают с одной на другую. Кристине, наверное, не делали уколов, она не знает, что это не страшно. Почему бабушка не объяснила ей, что нужно просто немного потерпеть. Я разглядываю слезы застывшей штукатурки на стене, по ним проворно карабкается маленький паучок. Крик обрывается, и Вторая выходит из палаты, хлопком двери нарушив внезапно воцарившуюся тишину. Цокает мимо, не обращая на меня никакого внимания, цедит сквозь зубы: «Дурдом».

Я стою в нерешительности: можно вернуться в палату или нет.

Воображение порождает страх: вдруг за дверью произошло что-то ужасное? Вдруг они ее убили?

– Заходи, – говорит Первая, возникая в дверном проеме.

– Почему она так кричала?

Я не двигаюсь с места, и Первая молча закрывает дверь.

– Ты вон зонд боялась проглотить, она уколов боится...

– Я зонд не боялась. Мне только кишку сегодня давали.

– То и был – зонд, твоя «кишка».

– Правда? А я по-другому представляла... Почему к ней мама сегодня не придет, а только завтра? Позвоните, пусть сегодня придет. Ко всем приходят...

Медсестра бросает на меня недовольный взгляд, крепче прислоняет к своей большой груди поднос, словно боясь его ненароком уронить, и шагает прочь по коридору.

– Нет у нее мамы!.. – бросает она на ходу. – И семьи нет... Сирота она. Из временного приюта – в детский дом.

– Как это нет семьи?

– Так бывает. – Первая останавливается и снова идет мне навстречу.

– А бабушка? Что вы! У них дом, дрова и озеро!

– Нет. И бабушки нет.

– Так не бывает...

– Ты, наверное, заметила, что она не такая, как ты.

– Но она рассказывала!..

Я буравлю медсестру взглядом и жду объяснений. В одной из палат валяют дурака дети. За стеной кто-то громко смеется. Где-то в районе процедурного кабинета бряцает что-то металлическое. Первая подходит совсем близко. От нее пахнет валерьянкой и еще чем-то остро бьющим в нос. Луч солнца скользит по ее пушистым волосам, меняя цвет с ярко-рыжего на соломенный. Я вижу каждую морщинку на ее лице.

– Иди в палату, детка. Тебе уже давно пора отдыхать. А мне работать. Слышишь,

как разбушевались?

Я неохотно плетусь в палату. Кристина лежит, укрывшись одеялом с головой и распластавшись на кровати так, что ее не видно.

Доктор Нарбут качает меня на качелях. Вверх-вниз. Когда качели взмывают высоко, у меня захватывает дух и екает сердце, когда приземляются, приходится отталкиваться ногами. Интересно только где-то в середине полета. Вверх-вниз...

Это не страшно?.. Обычный гастрит в острой форме. Ничего особенного... Хвала богу.

Вверх... Кроны деревьев щекочат мое лицо, проносящийся мимо стриж стрижет воздух, задевает меня своим крылом, белое облако подушкой опускается на голову.

Разумеется, нужно соблюдать режим питания... Вниз... диета, таблетки... В брошюре все описано... Вверх...

Качели висают высоко над землей, доктор Нарбут, опираясь на трость, удаляется без оглядки, я открываю глаза. Папа проводит рукой по моим волосам растопыренной пятерней. Снова и снова.

– Вставай, собирайся. Мы тебя забираем.

Пока я воюю с пижамными штанинами, мама поспешно перекладывает вещи из больной тумбочки в новый рекламный пакет, папа разглядывает наши рисунки.

– Я там яблоко не дорисовала...

– Дома дорисуешь. А где твоё полотенце? – спрашивает мама.

– Оставила... Когда глотала зонтик...

– Нужно все забрать, чтобы никогда сюда не возвращаться. Такая примета.

Я стягиваю с себя пижаму, мама подает мне новое платье.

– Альбом и карандаши мы подарим твоей соседке, ладно?

Я неуверенно киваю.

– Девочка, как тебя зовут? – Папа кладет на тумбочку Кристины альбом и коробку с карандашами.

– Козетта, – отвечает Кристина.

Голубки еще не начинали перебирать мак, и Бараний Кожушок пока не нашла под волшебным дубом ни одного бального платья, а со стороны Дедовой софы уже доносится первое шумное сопение, оповещающее о нырке в сладкий сон, как в огромную волну, голубиные крылья ласково касаются лица: «Не спи же, не спи!» – я стою в майке и стучу пальцем по Дедовой колючей щеке, иначе он не узнает, что будет дальше, он наизусть знает, что будет дальше, мы все знаем, чем закончится Бабина сказка.

И вот мы лежим, тьма съедает очертания предметов, высокомерная луна освещает край окошка постольку, поскольку зеленый дом время от времени путается у нее под ногами, гномики помогают бедной девочке по имени Бараний Кожушок остричь тысячу овец, но на бал ее все равно не пускают, я громко смеюсь, потому что Дед снова храпит на том же месте, что и в прошлый раз. Он немедленно

выныривает из забвения и небытия, из пухового одеяла, слишком жаркого для летней ночи, как овчинный тулупчик в августе для бедной девочки, переворачивается, и старые пружины недовольно кряхтят под его весом. Я не сплю, я слушаю, говорит он, но меня не проведешь.

Баба хихикает, вполголоса продолжая распутывать сказочные нити повествования, гладит меня по голове. Она спит у стенки, я с краю, чтобы было удобнее бегать на ведро. Ведро – вместо туалета. Раньше можно было сходить на горшок, но я выросла. Он все еще стоит под кроватью, голубой, алюминиевый, с черными проплешинами на дне. Зачем он стоит, если им не пользуются, я поняла лишь недавно. Младшие двоюродные братья. Они вполне могут подниматься среди ночи и ходить на горшок вместо того, чтобы бегать в сени, поджав пальцы, на цыпочках, находя на ощупь одну, вторую, третью дверь, вторая долго долдонит эхом задетого металлического крючка, на который ее никто не запирает. Стремительно стянув трусы, нужно быстро придвинуть ведро, пустить желтый смычок тонкой струи прямо по его звонкому боку, завершить торжественный туш вприпрыжку – от пола тянет холодом даже летом, следует поторопиться, пока ноги не превратились в ледышки, у меня, например, они всегда холодные. Да, наверное, наверное, младшие двоюродные братья тоже приезжают сюда, тоже ночуют вместо меня и где-то здесь спят, ходят на мой бывший горшок, но я этого никогда не видела, так что необязательно.

Дед то и дело показательно громко зевает, Бараний Кожушок находит под волшебным дубом золотую карету, кузнечики за окном трещат, как оглашенные перкуSSIONисты с миниатюрными маракасами, раньше я путала их со сверчками, потом заметила, что сверчки не шумят, а поют, выводят печальное соло и не нуждаются в оркестре.

Баба берет паузу и просит принести ей воды в жестяной кружке, из жестяного ведра рядом с туалетом, который тоже ведро, но другое. Я бегу, перепрыгивая половицу, скулящую, если на нее наступить, как собака, которой отдавили лапу, перепрыгивая порожек, ориентируясь на мирт. Он мерцает на фоне окна, подобно серебристому шитью, Мирсина – ночник, Мирсина – лампочка. Все предметы приходят в движение под тяжестью моих шагов, изученный лейтмотив по дороге в сени и обратно: мелко трясется, позвякивая, сервиз в серванте, вздрагивает стол, тяжело вздыхает трельяж, трижды ничего не отражающий, ночные прогулки гулко отзываются в комнате.

Баба жадно пьет воду, приподнявшись на локте, большая и сладкая, как белая булка, она болеет сахарной болезнью, из-за которой часто хочется пить. Кружку можно поставить на стул, говорит она, я потом унесу, когда волшебный дуб закончит раздавать дары, захлопнет внутри себя наряды вместе с парой хрустальных башмачков, совсем как дубовый шифоньер, который стоит за моей спиной. Платьев у Бабы мало, самое большее три, а вот чулок и бандажей, куда Баба складывает свой большой живот, тьма-тьмушая. Она перебирает их, как принцесса пеньюары в своей гардеробной, и латает, и тачает, и подшивает, после нескольких операций ее брюшная полость не может существовать без этого элемента одежды. В углу висит Дедов костюм, один-единственный, пропахший махоркой и солнцем. На дверце несколько ремней и галстук, в ящиках молитвенники и лаковый парадный ридикюль. В нем лежат четки и мелкие деньги на пожертвования в костеле, я пытаюсь его закрыть, но поцелуйчик замка выскальзывает, замок не слушается, пальцы не слушаются, сумка растет прямо на глазах, проваливается в дупло волшебного дуба, принц не узнает девушку и поворачивается к ней спиной.

Я не сдаюсь, вытягиваю ступни и, касаясь железных прутьев кровати, стучу по ним пяткой – это ты стучишь? – я... – все средства хороши, только бы не сомкнуть глаз, дожидаться конца всеми способами, сон нещадно хватает за веки, пытаюсь ими управлять, какой глупый принц, не узнать девушку только потому, что на ней старый, прохудившийся кожушок, Дед храпит размеренно и шумно, проиграв борьбу и погрузившись на дно.

Девушка возвращает принцу потерянный перстенок, и он по-прежнему не знает, кто она, все еще не знает, где найти красавицу в бальном платье, и мы не знаем, что будет дальше, мы с Дедом никогда не успеваем узнать конец Бабиной сказки, для нас все сказки заканчиваются на середине и одинаково предсказуемо, как и все на свете, – сном праведным.

Иногда мне тоже хочется Барби. Мысль об обладании куклой мелькает на периферии сознания всякий раз, когда начинается реклама фирмы Mattel, такая розовая и фуксиевая, что режет глаза – отойди от телевизора, не порти зрение, – но я не очень понимаю, что делать с куклой потом, когда она вместе со своей хорошенькой головкой и белоснежной улыбкой вырвется на волю из коробки. Читать я люблю больше, чем играть с неживыми предметами. Да что уж там, читать я люблю больше всего на свете, бывшие люди прекращают тревожить меня, когда я погружаюсь в чтение, шарахаются, как от огня, от всего, что не связано с ними лично, чтобы, упаси бог, художественный вымысел не пересекся с их биографиями. С появлением у меня новой книги лазейки у них остаются только во время сна.

Нам с Алей вручают по мандарину, но велят не есть их до ужина. Сначала нужно преломить облатки вместе со всеми. Мандарин – ни рад наМ. Не рад нам, оттого и не растет в наших краях. Зато мы ему рады, как и столь удачно выпавшему сегодня снегу, и праздничной суеде, и предвкушению рождественского чуда. Игрушки из хатки, как обычно, перекочевали на Дедову елку, очень пушистую и нарядную в этом году. Аля снимает с веточки конфету, разворачивает и, прежде чем я успеваю напомнить ей о рождественской кутье, которую нужно съесть в первую очередь, быстрым беличьим движением кладет ее себе в рот. Дед всегда вешает на елку конфеты. Конечно, для меня, а не для Али, но это неважно, потому что Аля – гостя. Она немного вертится у трельяжа: кто на свете всех?.. – заправской кокеткой разглядывая свое отражение, изучает содержимое Бабиного серванта и уверенно заявляет, что тетя привезет ей из Польши самую красивую Барби на свете, ведь скоро у нее день рождения. Аля пока не умеет читать и не стремится научиться, в тетином доме книги – нечто вроде музейной редкости. А она – ребенок, и совершенно естественно, что ей нравятся куклы. Я тоже ребенок, когда взрослые хотят подчеркнуть, насколько я еще мала и глупа. Когда взрослым нужно убедить меня в обратном, я вполне себе «большая девочка». Тем временем Аля возмущенно интересуется своим смешным, низким, альтовым лябемоль, уж не спятила ли я, решив подарить всех кукол Бабе?!

А я действительно их ей подарила. Давно, наверное, еще в первом классе.

Наши с Алей бабушки – родные сестры, все родственники собрались в зеленом доме на рождественский сочельник. Аля усаживает кукол на Дедову софу в спальне, хотя, вообще-то, они живут у Бабы в зале и украшают диван. Моя бабушка – большая девочка, которая до сих пор играет в куклы, потому что в ее детстве кукол не было, а была война.

Первую куклу подарили родителям на свадьбу. На ней зеленое платье с белыми ромашками и пластиковые башмачки. Кукла метровая, огромная, когда я родилась, мама ставила ее ко мне в кровать, и я панически ее боялась. Эта кукла – олицетворение моего первого осознанного страха. Если днем мне удавалось избегать ее взгляда, то ночью невозможно было скрыться от двух широко распахнутых, неестественно синих глаз. Иной раз мне казалось, что она оживает и шевелится. Временами чудилось, что она моргает. Я не умею признаваться в своих страхах, пока меня не спросят. И когда спрашивают, тоже. Поэтому мы с куклой просто терпели друг друга, как и сколько могли. Из тюля Баба сшила ей чудесный подвенечный наряд с фатой, теперь эта кукла – невеста и занимает центральное место в экспозиции на диване в зале. Когда нет гостей. Когда в доме гости, куклам приходится потесниться.

У второй куклы раньше даже было имя. Я звала ее Глашей. Она такая же

некрасивая и чумазая, как младшая Глаша из одной многодетной семьи, с которой я вожу дружбу.

Третья кукла большая и грустная. У нее слегка приоткрыт рот, и если положить ее на спину, то своим обликом и платьем лягушачьего цвета она отдаленно напоминает «Офелию» Милле. Со всеми вытекающими и леденящими душу подробностями.

Четвертая кукла, пожалуй, даже немного симпатичная. Более очеловеченная. Должно быть, поэтому я умудрилась в раннем детстве оставить несмываемую чернильную кляксу на ее резиновой щеке. Ей тоже достался новый наряд, соответствующий Бабиным консервативным взглядам, и свой уголок на диване, куда люди обычно кладут подушки.

У всех кукол одинаковые короткие волосы – искусственные кудри на непропорционально больших головах, варьируется только цвет – от белого до цыплячьего-желтого. Падкая на красоту, я не могу взять в толк, как можно любить их. Наверное, с хрупкой, улыбающейся Барби играть намного приятнее, но я все равно не уверена, что у меня получилось бы.

Аля еще мала, но у нее точно получится. Она знает все об играх в дочки-матери. И не только.

– Почему они у тебя без конца ходят и ходят друг к другу в гости? Должны же они и отдыхать.

Иногда мне кажется, что Аля старше, намного старше, чем я. Ей ничего не стоит смутить меня и поставить в тупик. Аля хорошенькая, ее большие глаза, из-за огромных зрачков кажущиеся черными, сверкают в темноте. Узкая полоска света змеится по загогулинам дубового шифоньера.

– Давай, вот эта большая как будто муж, а вот эта как будто его жена. Им пора спать, – говорит Аля и кладет воображаемого мужа на воображаемую жену сверху. – Теперь они будут целоваться, долго, очень-очень долго, потом двигаться вперед-назад, вперед-назад...

Мне не нравится эта игра. В ней есть что-то неправильное. Не потому, что две куклы, которых я считаю девочками, лежат друг на друге, как муж и жена. А потому, что Аля еще очень мала. Решительно слишком мала для таких игр. В моей голове возникает бегущая строка из вопросительных знаков.

– Откуда ты все это знаешь?!

– Видела!

Я тоже кое-что уже видела, я хожу в школу, а там можно многое увидеть и узнать. Не только из уроков анатомии. Но Аля еще такая неразумная малявка, что ее познания выглядят, мягко говоря, мерзко и противоестественно.

– Где ты это видела? В кино? По телевизору? Откуда ты это знаешь?

– Это секрет! – Большие Алины глаза смеются совершенно по-взрослому. – Знаю, и все!

Она выводит меня из равновесия и сбивает с толку, я сообщаю ей, что если она не прекратит эту игру, то я пожалуюсь маме. Причем ее маме.

Говорю это с абсолютной беспомощностью пятиклассницы, над которой смеется весь мир, включая этого ребенка.

– Ты глупая. Глупая, злая и некрасивая, – защищаясь, говорит Аля.

Она забивается в самый угол софы, куда не проникает даже скудный свет от окна.

Кукла Офелия с приоткрытым ртом пялится на меня своим стеклянным глазом, распластавшись над Невестой.

Презирая себя за слабость, я выбегаю из комнаты, так и не выяснив до конца ни правил Алиной игры, ни того, откуда они ей известны.

Сидели возбужденные на кухне, как заговорщики, провожали бледный мартовский день чаепитием, обсуждали ткань, обсуждали банты, тетя привезла из Индии невиданной красоты материалы, фантастическая расцветка, единственная в Валсарбе, а может быть, в стране. Легкий цветастый шифон с люрексом, таких платьев даже в журналах «Бурда» нет, а у Али будет. Подливали кипятку в заварку, шелестели конфетными фантиками, искрились и фонтанировали идеями, какие лучше колготки, какая лучше прическа, будут ли танцевальные номера, или поделки своими руками, или. А кто будет участвовать, пока записали только пять девочек, кто еще – неизвестно, но точно будет дочка Той, как ее фамилия, Воспитательницы, которая, а! помню, да, на что она надеется, нет никаких шансов у дочки Той Воспитательницы.

Мама заливается довольным румянцем и порывисто обнимает Алю за плечи, а ведь мама никогда никого не обнимает, приседает, заглядывая ей в глаза: нужно выучить песню, Аленька, ты сможешь выучить песню? – я подумаю, какую, ты обязательно победишь.

До конкурса еще далеко, готовятся заранее, девочки маленькие, а нужно решить вопрос нарядов, решить вопрос очередности номеров, выучить текст, все упорядочить, научить детей не бояться сцены и держаться раскрепощенно перед полным залом дома культуры, я прихлебываю чай и думаю о том, что нужно будет пойти в день икс пораньше, занять места поближе, иначе я ничего не увижу, а может, билеты платные, тогда у нас будут пригласительные, а как же, мы же родственники, я выхожу из-за стола и думаю о том, что Аля – самая красивая девочка в городе, с ней соперничать нелегко, а возможно, даже глупо, если только не какая-нибудь случайность, если только не «длинные руки» и связи.

В детской у меня беспорядок, Аля проходит сразу к тахте, садится и смотрит немигающим взглядом, как я вытираю стол бумажным полотенцем.

– А мне детей еще не подарили, зато моей кукле можно расчесывать волосы...

– Интересно, каким будет главный приз на конкурсе? – Протерев стол, я ставлю его на полку, к остальной игрушечной мебели.

– Обо мне напишут в валсарбской газете, как думаешь?

Я смеюсь: давно ли ты научилась читать? – и Аля смеется вместе со мной. Потом следит за мной долгим взглядом, потому что я хожу по комнате, будто заведенная: мне вечно здесь неуютно.

– Тогда у твоей бабушки в гостях... Когда мы играли в куклы...

Липкое и зудящее беспокойство охватывает меня.

– Я расскажу, хочешь? Один мальчик из нашего двора позвал меня к себе домой и включил такое кино про любовь...

– Ну и зачем ты ходишь к каким-то мальчикам? Ты кому-нибудь рассказывала об этом? – Я сажусь прямо на пол, у ее ног, плохо соображая, что делаю.

– Нет, не рассказывала. И ты не говори, не скажешь?

– Не скажу. Если ты мне пообещаешь никогда, ни при каких обстоятельствах не ходить к этому мальчику домой. И к другим тоже, конечно. Кстати, сколько

этому мальчику лет?

– Осенью он пошел в первый класс... У него еще есть старший брат, уже большой.

Признаться, я и не подозревала, насколько это тяготило меня. Нужно было расспросить Алю сразу. Вся невысказанная тревога, колом засевшая в груди, рассыпается в прах и пепел, и становится легче дышать. Причина тому – уже взрослый брат, человек небольшого ума, раз оставляет улики и грешные видеокассеты.

– Ты не пообещала...

– Клянусь!

Взрослые покончили с чаепитием, а мама определилась с песней. Она зовет всех в зал, говорит: «Мы пели в молодости», говорит с воодушевлением, но так, будто это было давно, несколько столетий назад, поправляет смущенно локоны, завитые электроплойкой, «мы пели в молодости», маме тридцать два года, непонятно, как называется мамин возраст сейчас. Песня длинная, с одним рефреном: папа, подари мне куклу, я ревностно верчусь рядом, бегаю с ручкой и листочком, пытаюсь записать текст быстрее тети, желая выучить слова быстрее Али.

Не вертись, не вертись.

А папа может подыграть, правда, папа, ты можешь, гляди-ка, песня про тебя, а ты раньше ее слышал? – он все на свете способен подобрать на слух, правда, папа? – я тоже могу, только на пианино, жаль, что у нас нет такого пианино, как у...

Ты можешь помолчать?

Все смахивает на премьерный показ цветного кинофильма, все дома, всем весело, папа с улыбкой растягивает меха, фальшивит в аккордах, Аля послушно повторяет за мамой слова, неверно интонируя в куплетах, я под стекло-ом, я на витрине, я путаюсь под ногами, у всех, кроме папы, его ноги тоже заняты игрой на баяне, притопывают и отбивают ритм, тетю смешит эта его нога, и она громко и заливисто хохочет, я танцую, не в силах совладать с эмоциями, с ощущением переполняющего счастья, ведь Алин конкурс еще не скоро, они будут приходить часто, и мама станет печь пироги, чтобы потом пить чай на кухне и репетировать подолгу, пока Аля не запомнит слова как следует, а я запомнила уже, запомнила и выбегаю в переднюю, выбегаю на кухню, проверяя вполголоса свои вокальные данные: как хорошо, когда кому-то на этом свете нужен ты.

В слове «лето» спрятано тело в коротких сарафанах и шортах, с голыми коленками, струпьями на локтях и неправдоподобно темным загаром. В весне прячутся наши сны, в осени – сено, и только зима предлагает мази – хоть что-то полезное, зима надевает белый халат и играет в доктора.

Легче всего быть летописцем лета. Принимать каникулы как данность и не думать о будущем, пока утра выстреливают птичьими трелями ни свет ни заря, по клеткам кривых вытертых «классиков» скачут камешки дней, вечера вычесывают колючий репейник из бурьяна волос, ночи ворчат бесплодными грозами и снами о прошлом.

Когда все уезжают в село – о лес – или поселок – колесо п, а по существу в невиданный мною колхоз, я хожу на отработку в школу.

За горами, за долами все пропалывают колхозный турнепс, а мы с Эммой, девочкой из параллели, полем клумбы в школьном дворе. Выковыриваем из земли толстые ноги конского щавеля и неподдающиеся реликтовые хвощи. Ненароком половиним дождевых червей, попавших под горячую руку холодных тляпок. Когда заканчивается отработка, я бегу к Тане, но ее нет. Почти никогда нет, причем именно тогда, когда у меня появляется уйма свободного времени. Таня тоже

отрабатывает. Убивает драгоценные часы на грядках, потому что у Тани есть дача, которую мы обе втайне ненавидим. Личная свекла, клубника и цветы требуют больше усилий и времени, чем общественные. Они отнимают у Тани лето, а у меня Таню.

Я бегу на ее второй этаж, несу полный рот своих и чужих стихов, сердце, битком набитое событиями и впечатлениями.

– А Таня выйдет?

– Она уехала и останется ночевать на даче.

Иногда на мой звонок отвечает лишь едва слышная поступь кошачьих лапок, разочарованно дефилирующая прочь. Мы с кошкой ждем Таню по разные стороны двери.

Мне, тихому омуту, остается уметь в одиночестве, по вечерам глотать очередной том очередной энциклопедии, с утра плестись на очередную школьную клумбу. Когда клумбы заканчиваются, мы с Эммой моем окна старыми газетами. Когда заканчиваются газеты, начинаются дожди.

Таня появляется в один из дней, затасканных непогодой, когда небо становится одного цвета с озером. Возникает на пороге загорелая, с одутловатым лицом, потому что переборщила с медом, проявилась аллергия, такая максималистка, никак не могла остановиться, настолько было вкусно. Несмотря на это, Таня выглядит вполне довольной жизнью. Оказывается, дача не худший удел.

Я читаю ей стихи и что-то бренчу на пианино, мы пьем чай и смотрим в окно, где льет шумно и водопадно, барабанит по жести табун водяных скакунов, множится, дробясь, они тонут в луже, лужа топит зазеркальный дом, пытается утянуть нас, в то время как мы бегаем друг к другу утром и вечером, из подъезда в подъезд, делимся конфетами и одиночеством. Однажды ближе к вечеру кособокое солнце сдергивает редкую марлю с джинсового горизонта. Дождь прекращается, и возвращаются тепло, сорняки на клумбах, грязные потеки на школьных форточках, новые «классики» на сухих проплешинах вымытого асфальта. Возвращается: атанядома? – атаняуехаланадачу.

В то июльское жаркое воскресенье, четыре недели назад, когда мы все поехали на озеро, никто и вообразить не мог, что нас ждет впереди. Здесь можно долго подбирать слова, можно и нужно, но слов нет, как будто их выдуло сильным сквозняком изнутри, и они высыпались и разлетелись, в спину свистят, а я стою дырявая и пластмассовая, не в силах сообразить, что делать дальше.

Мы все поехали на озеро, все, то есть я с родителями и Аля с родителями, взрослые выбрали не самое популярное лесное озеро и не самый известный берег, где поменьше народу, благо есть из чего выбирать и необязательно терпеть в непосредственной близости компании себе подобных или отдыхающих с собаками. На самом деле это родителям вздумалось ехать к озеру, в этом году выдалось на редкость знойное лето, за исключением недели затяжных ливней, пришвартованных к нашим берегам каким-то глупым циклоном, но я все равно боюсь воды и не умею плавать, а Але нельзя купаться, у нее толстый шов на ноге, и он не заживает. С тех пор как ей не довелось поучаствовать в «Мини-мисс», она ведет себя странно, ее будто лишили жизненной энергии, она словно воздушный шарик, который вот-вот сдуется. Либо отстраненная, либо откровенно удрученная, как всякий ребенок, который не получил желаемое и не может с этим смириться. Глаза у нее часто на мокром месте, не знаю, наверное, это из-за всего пережитого, той операции, которая свалилась как снег на голову, перед самым конкурсом, или боли, которую она испытывала и, возможно, испытывает до сих пор, когда подол платья касается шва, или того, что ей не удается общаться со сверстниками, поскольку она то и дело попадает в больницу.

У Али что-то с ножкой, говорит мама, говорит папа, говорит Алина мама, говорит Алин папа, шов не заживает, нельзя мочить, отойдите подальше от воды.

Мы лежим на покрывале и загораем, а точнее, умираем от жары, солнце беспрепятственно льется на наши несчастные головы, на поляну у озера, на папин автомобиль. К тому же оказывается, что ни мошкара, ни комары не дремлют, они уже вышли на охоту, и, похоже, результат их изысканий не в нашу пользу, к вечеру мы все покроемся розовыми зудящими волдырями, вот уж кому дела нет до жары. Хочется спать и пить, еще было бы приятно сейчас оказаться дома с книжкой, пока я раздумываю, стоит ли накрыть голову полотенцем и подремать, опрометчиво подставив спину палящему солнцу, поскольку родители, похоже, все равно не собираются вылезать из воды, Аля неожиданно спрашивает, действительно ли она лучше и красивее Майки?

Конечно, бескорыстно заверяю ее я, еще ни разу за три месяца мы не говорили о конкурсе, и не только потому, что редко видимся, я просто ждала, пока это проницательное дитя само затронет эту тему.

У тебя был лучший наряд, лучший номер и лучшая песня, говорю я тоном человека, сделавшего уникальное открытие, в следующем году конкурс состоится снова, и пусть жюри пеняет на себя, если ты не станешь победительницей.

Аля, кажется, не слушает меня, только теребит травинку в руках и не спускает с нее глаз, изучает немигающим взглядом, говорит, у меня будет самое красивое свадебное платье на свете, самая красивая фата, я буду самой красивой невестой, намно-о-ого красивее тебя, ведь у тебя не будет такого платья, ты же знаешь, как моя мама умеет хорошо шить.

Алины слова и смешат, и задевают меня. В ее тоне столько горечи, словно я ее чем-то обидела. Алины темные глаза кажутся почти черными, впрочем, они даже не карие, просто широкие зрачки полностью скрывают радужки. Чтобы не выдать своих чувств, я отвечаю, что, скорее всего, вообще не выйду замуж. Я снова ощущаю себя не в своей тарелке, как тогда, зимой, она снова кажется мне старше своих лет, взрослее меня. Похоже, она и сама чувствует свое внутреннее превосходство надо мной, наверное, даже ребенку понятно, что я не умею держать удар. Прежде чем ответить, я на мгновение задумываюсь, что со мной не так.

Я не хочу замуж, даже ради платья, так что, конечно, ты будешь самой красивой невестой, а пока ты самая красивая девочка из всех, кого я знаю.

Ты тоже красивая, беспечно отвечает Аля как ни в чем не бывало.

Заря озарения, что я ни разу в жизни не задумывалась о своей внешности и редко смотрюсь в зеркало, потому что мне неважно, кто там, обрушивается ярче ослепительного полуденного солнца. Никогда еще меня не называли красивой, это точно. И предельно ясно, что мне это совершенно безразлично, чего не скажешь об Але. Неужели она сомневается в своей внешности, неужели это так важно? Все любят Алю, все всегда хвалят Алю, но ее как будто гнетет какая-то тайна, наверное, она просто устала. Больница – худшее, с чем может столкнуться маленький человек.

– Ты красивая. И хорошо, что ты у меня есть. – Аля глядит в упор, и выражение ее лица смягчается, становится благожелательным и удовлетворенным, как у человека, которому удалось наконец подобрать нужный ключ к замку.

Таких слов мне тоже никогда не говорили. Оказывается, можно не просто быть, а быть кому-то в радость, быть для кого-то чем-то хорошим, кем-то нужным. Чувствуя себя незаслуженно привилегированной пройдохой, я бормочу: а ты у меня, – Аля улыбается: пойдём, походим по воде, мы осторожно, с краю, у самого берега...

Я иду, потому что никогда не могу отказать, никому не могу отказать, мне, как той кошке из присказки, достаточно доброго слова, с бережка напротив доносятся

истощные визги, преувеличенно громкие, как это бывает на открытых пространствах, Аля поворачивается, и я вижу огромный, ярко-розовый шрам на внешней стороне бедра, похожий на вывернутый наружу, безобразный двойной шов, один из тех, которые я безуспешно осваиваю на уроках труда. Бледно-желтая вода касается наших ступней, они погружаются в илистый песок, притаившиеся в нем камни, те, что покрупнее, то и дело ощутимо, исподволь жалят пальцы ног, Аля говорит: гляди, какой у меня след, – приседает и стирает его ладонь.

Только посмотрю, и сразу домой. Очень быстро. Задерживаться не стану. Если что-то заинтересует, попрошу показать поближе. Не нужно шуриться из последних сил, когда не видно, выхватывать туманным зрением буквы, опасно опираясь о стеклянную стойку, вытягивая шею, точно гусыня. Ты же воспитанная девочка. Можно просто попросить: «Не могли бы вы...» или лучше: «Будьте добры, покажите мне ту книжку с верхней полки». Не стоит экспериментировать и бросаться названиями, если не уверена. Достаточно прошлого раза, когда ты заявила на весь магазин: «Дайте мне, пожалуйста, "Страну Ноль-Три!"»

У подружки Таниной мамы, продавщицы тети Лены, сразу брови от удивления на лоб полезли. Кто мог подумать, что художник-оформитель так соригинальничает и напишет название красным: получился точь-в-точь номер телефона скорой помощи. Народу было много, и кто-то из взрослых засмеялся. А «Страну Оз» я потом даже дочитать не смогла.

Только взгляну, буквально на секундочку, потому что не стремлюсь расстаться со своей коллекцией, если это не что-то по-настоящему стоящее. Раньше я ничего не собирала, а теперь собираю купюры со зверюшками. Они довольно милые, разноцветные и шелестящие. Эти купюры. Звери, на мой взгляд, могли бы быть и симпатичнее. Один маленький мальчик решил вырезать их для увлекательной игры в Беловежскую пушу, его мама и глазом не успела моргнуть, как разом лишилась аванса в непроглядной чаще нужды и дефицита. Позавчера в качестве именинницы я разжила парочкой хищных животных, однако с таким заповедником не разгуляешься, решительно преобладают белочки, поэтому я только посмотрю.

В книжном магазине иногда густо, иногда пусто. Но в будни летом почти никого нет. Хорошо, когда людей много, я не так привлекаю внимание. Иногда я специально замедляю шаги и жду, чтобы в магазин вошел кто-то еще, желательно какая-нибудь бойкая женщина, которой понадобятся либо профильные тетради, либо что-нибудь желательно не о несчастной любви, но романтическое, либо просто несколько десятков картонных папок со скоросшивателем. Она отвлечет тетю Лену или ее напарницу, я забуду все наставления самой себе о том, что можно попросить, а не шуриться из-за стойки, и буду блаженно изучать обложки, аппетитно выставленные на витрине. Впрочем, если в магазине никого нет, то есть пока никого нет, потому что всегда есть вероятность, что кто-нибудь войдет и попросит географическую карту (но не летом, не летом, кому летом может понадобиться географическая карта, если можно ограничиться бесконфликтным атласом), нужно с невозмутимым видом направиться к стеллажу с букинистической литературой, к книгам, которые «сдали», предали, как дочери – Лира. Обычно недорогие, с потертыми корешками и испачканными форзацами, они бывают гораздо лучше новинок. Именно среди таких отверженных книг я и нашла весной свой двухтомник Гюго.

Я только посмотрю и...

Неужели бывают такие толстые книги! Неужели ее кто-то мог сдать... Воспоминания сестры моего поэта. Моего любимого поэта. Подарок на мой день рождения, не иначе. Серый переплет, красный корешок, золотые тисненные буквы. Более семисот страниц! Издана девять лет назад, стоила три рубля тридцать копеек. Страшно открыть задний форзац и взглянуть на листочек, вклеенный чужеродный листочек с новой ценой. Пальцы становятся влажными, даже какими-

то липкими.

– Тебе помочь?

Вздрыгнув, я робко улыбаюсь и молчу, тетя Лена доброжелательно смотрит на меня.

– Нет, спасибо.

Господи, откуда во мне этот хриплый голос.

Закрываю глаза, открываю книгу там, где стоит новая цена, открываю глаза, в шее пульсирует, руки ватные, сердце падает и замирает.

Они просто добавили ноль к первоначальной стоимости книги. Моя купюрная коллекция может спокойно разбрестись по дремучему лесу несправедливости. Чтобы завладеть воспоминаниями, нужны целых три зубра, лось и волк. Или три зубра и три рыси. Или три зубра и десять бобров. Проблема в том, что у меня нет ни одного зубра, и мой зоопарк, даже при содействии медведя, способен покрыть только одну треть необходимой суммы.

Я поспешно ставлю книгу на полку, пытаюсь закрыть ее остальными, другими, более тонкими и менее ценными, в магазин заходит мужчина, спрашивает авторучку, заходит бабушка с внучкой лет пяти, заходит такой же, как я, испуганный мальчик.

У меня мало времени, я обещала, точнее, мне велели, почистить картошку и навести порядок на и в письменном столе, другие дети встречают родителей с ужином, никогда не оставляют бумажных завалов и ящики их столов хорошо открываются и закрываются, поскольку не набиты разным хламом. В то время как я черт-те чем занимаюсь, лишь бы только не находиться дома, причем даже не в состоянии догадаться, что можно не только почистить картошку, но и сделать из нее пюре. На самом деле я догадываюсь. Только мне не нравится готовить. Я боюсь испортить дефицитные продукты. Боюсь, что молоко убежит, а комочки в пюре останутся. Чего я не могу понять, так это того, зачем кому-то, кроме меня, так уж жизненно необходимо, чтобы ящики стола хорошо открывались и закрывались. Ведь это ящики моего стола.

Магазин оживает, наводняется людьми, обо мне забывают, и я начинаю кружить близ сокровища, которое минутой ранее запихала подальше от посторонних глаз, намереваюсь уйти и тут же пускаюсь в африканские ритуальные пляски вокруг полки, в какой-то момент беспомощно наблюдая, как моя рука снова тянется к «Воспоминаниям». Отчаянно стараясь казаться равнодушной, я листаю хрупкие, немного волнистые страницы, усыпанные мелким шрифтом, пока книга сама не открывается на гладкой, глянцевитой вклейке с фотографиями. Фотографиями поэта, чьи стихи не достать в Валсарбе и не выкупить у маминых подруг ни за какие коврижки, чьи сборники мне дают на время, чтобы я могла переписать их в общие тетради, а потом выучить наизусть. Будь моя воля, я отдала бы за эту книгу все свои продовольственные купоны, но, во-первых, моей воли недостаточно, а во-вторых, здесь они все равно не помогут.

Со стороны я сейчас, наверное, похожа на тихого пьянчужку, который прикладывается к бутылке всякий раз, как его жена выходит из кухни. И конечно, выгляжу подозрительно. Но правда в том, что если бы я была смелее, то вынесла бы «Воспоминания» без оплаты и свидетелей, невзирая на тетю Лену и ее дружбу с Таниной мамой. Однако я просто стою, невыносимо долго стою и листаю вторую глянцевую вклейку; мужчина и мальчик ушли, бабушка рассчитывается, проклиная зайчиков и белочек, в которых она до сих пор не научилась разбираться, внучка капризничает, я стою и листаю, пока на одной из страниц не возникает лицо парня из сквера и моих снов, лицо в профиль, с невидящим взором, устремленным вдаль, лицо с орлиным носом и поджатыми губами, лицо, которое я, не помнящая лиц, не уделяющая им должного внимания, знаю наизусть,

которое иногда вижу в зеркале вместо себя, с таким же высоким лбом и упрямым подбородком.

– Хорошая, верно? – Тетя Лена о чем-то спрашивает, дверь открывается, я читаю имя парня под фотографией, оно ни о чем не говорит мне, вижу год – 1943 (?), год и знак вопроса, что у нас тут новенькое сдали.

– Так-с, ну, что у нас тут новенькое сдали? – интересуется пожилой мужчина, опасно приближаясь ко мне.

Прижимаю книгу к груди, как собственность, закрываю золотую надпись «Воспоминания». Ее, конечно, купят, придут и купят. Вот такой дядька купит, может быть, даже этот.

Напарница окликает тетю Лену, я отхожу к стенду с альбомами о природе и открываю последнюю страницу, на которой несколько раз упоминается Валсарб.

Когда светлым августовским вечером мама снимает телефонную трубку и вдруг резко бросает ее, оставляя беспомощно раскачиваться на проводе, и выбегает, не закрыв дверь, в домашних тапочках на лестничную площадку, в подъезд, во двор, на улицу, и бежит все быстрее и быстрее, и не видит меня, бегущую рядом, не видит домов, автомобилей, прохожих, заходящего солнца, бежит слепо и нервно, как машина, у которой отказали все системы, когда я пытаюсь вспомнить, я не знаю, кто это сказал вслух, мама или я сама, мама мне или мама кому-то, не знаю, кто кому произнес эти пять слогов: Аля умерла, не знаю, что самое худшее – это волчье «у», или это не позволяющее поверить в происходящее, измеряющее реальность на глазок «мер», или «ла», легкомысленное, как песня, и неуместное.

Тревога исподволь заводит свои молоточки в груди и принимается ими барабанить, все отчетливее, все сильнее, пока сердце не начинает уклоняться от этих ударов, рывками, точно собака на привязи, желающая сбежать, спрятаться от этого солнца, что ультракрасной лампочкой подсвечивает нам дорогу справа, от любопытных взглядов слева, среди которых я узнаю Люсин, так не бывает, конечно, так не бывает, хорошо бы, это был сон.

Мы бежим прямо в омут неотвратимой беды, я спотыкаюсь на выбоинах асфальта и не поспеваю за мамой, я нуждаюсь в маминой руке, я хочу, чтобы она обняла меня, и стыжусь этого желания, потому что я – жива, а мечтаю о каких-то глупостях. Нам нужно миновать всего несколько домов до бабы-Ханиного дома, но мы бежим почему-то нескончаемо долго, будто по трясине, потрясенные и оглушенные, бежим, передвигая резиновые ноги, навстречу горю, и этот бег надолго поселяется в моих ночных кошмарах.

Не передать, каково это – видеть себя со стороны (точно в немом диафильме, запущенном скрипучим проектором в плохо затемненной комнате, на белой простыне), видеть себя, движущейся на пальчиках, содрогающейся, как вор, красться вдоль забора, цепляя взглядом ржавчину, следы краски и другие малопримечательные подробности, не имеющие значения в обычные дни. Забор зияет сотами сетки-рабицы, я иду мимо розовых бутонов шиповника с мятыми, гофрированными лепестками (а в учебнике по ботанике писали, что шиповник цветет в мае, как же это здесь он цветет вдруг в августе?) – мама вскрикивает уже на пороге веранды, коротко и отчаянно, как пересмешник-баклан на озере, а я не могу продолжить свой путь, не могу и отступаю прямо на куст, всполошив нерасторопного шмеля. Шипы проворно кусают мое запястье, вот бы уснуть и не пробуждаться, как в той сказке, где всякий, кто прикасался к колючей заросли шиповника, засыпал на сто лет. Все королевство – от привратников до куропаток на вертеле.

То, что вчера на закате казалось нереальным, сегодня обретает имя, форму, запахи и звуки.

Естествознание. Раздел IV. Раздел четыре, то есть мы изучали это приблизительно в феврале, когда неожиданно потеплело до минус одного, что редкость. Из народных примет якобы следовало, что стоит ожидать холодного августа, поскольку природа потребует компенсации у третьего летнего месяца. Но это неправда. Видишь, я уже нашла одну ложь. Еще нет и десяти утра, а воздух уже накалился, как чугунная сковорода. Природе безразлично, насколько безморозно было в феврале.

Раздел IV. Структура и динамика научного познания. На этой странице учебника кто-то до меня поставил бурое пятно, наверное, пролили чай, увлекшись практическими методами исследования, в рамках которых отдельно выделяются методы наблюдения и самонаблюдения, позволяющие экспериментатору установить эмпирический факт.

Нет никаких сил и желания иметь дело с объективной реальностью, подняться на бетонное крыльцо, войти на веранду и встретиться со всем этим лицом к лицу. Установить эмпирический факт.

Прильнув к стене, я сливаюсь с дощатым фасадом дома, ведя ладошками по излюбленным лабиринтам жучков-древоточцев, миллиметр за миллиметром переставляя каменные ноги в направлении маминого голоса, нечленораздельных причитаний и банок с охапками живых цветов.

Нужно только заглянуть, всего лишь заглянуть, убедиться, что это неправда, потому что это не может быть правдой, и тогда, быть может, эта странная боль в грудной клетке, подобная тому, как жжется лимонный сок, случайно попавший в заусенец, закончится, растворится, исчезнет. Происходящее решительно слишком сложно для моего понимания. В этот абсурд нужно плеснуть хоть немного чего-то привычного. Вот ступенька. Она привычная. Мы сидели на ней с Алей в прошлом году и ели какие-то ягоды. Что это было? Это были какие-то ягоды. Неважно. Ягоды – это привычное.

Я иду так медленно, что и не иду вовсе, просто ползу по стене. Меня трясет, словно в лихорадке, когда я прохожу веранду с огромной ромбовидной крышкой. Оказавшись у входной двери в комнату, жмурюсь и решаю, что буду смотреть на маму, только на маму и ни на кого больше, и ни на что больше, это совсем не трудно, взгляд сразу упирается в мамину спину, которая содрогается в рыданиях над платьем, не успевшим получить высшую награду на «Мини-мисс», смотреть только на маму – легко, поскольку в комнате только мама и тошнотворный запах венков. Но, разумеется, в комнате не только мама, приходится отступать и жмуриться снова.

Все в точности так, как на моей миниатюрной копии «Железной дороги» Мане, где и в помине нет никакого прибывающего поезда, он и в оригинале-то не на главных ролях, а у живущей на моей полке картинке вообще смещен фокус. Мне, как той маленькой девочке, так же любопытно, что скрывается за решеткой по ту сторону, но в отличие от нее страшно, страшно, что дым рассеется и меня раздавит приближающимся составом.

эthaneaля, этонеаля, помнишь, ты смотрела сказку про куклу наследника Тутти, у нее было странное имя, неважно какое, помнишь, она спала в коробке, такой же большой коробке, ты можешь подойти и проверить, окажется, что это кукла, вот увидишь, этонеаля, на самом деле Аля куда-то убежала, обиделась и убежала доказывать кому-то, что у нее самая лучшая Барби, что она будет самой красивой невестой, что она будет

Солнечный свет проникает в каждый угол дома, во все закоулки на улице, беспристрастно обнаруживает недостатки, преувеличивает достоинства, не оставляет ни малейшего шанса удачно спрятаться, но прятаться нет нужды. Меня никто не ищет. Меня никто не замечает. Даже чужой, случайный взгляд не задерживается на мне. Люди приходят, молча оставляют в комнате страха смердящие гнилю, моментально увядающие цветы, венки с невыносимой летом хвоей или уродливые корзинки и поспешно удаляются.

Почти никто не плачет, ужас происходящего настолько велик, что сковал все живое: этих людей, этот дом, эту улицу.

По детям нельзя плакать, говорит Баба и утирает лицо, такое мокрое, точно она попала под дождь. Иначе детские души тонут в наших слезах, а должны летать вместе с ангелами.

Мне это уже снилось. Но где? Когда?

Дед неловко обнимает ее за широкие плечи и открывает калитку, я хочу попросить их взять меня с собой, мешкаю, и они уходят, даже не взглянув в мою сторону.

Можно пойти и переждать в бане, решаю я, маленькой лачужке, спрятанной за гаражом, с настолько низким дверным проемом, что даже мне пришлось наклониться, переступая порог, когда мы однажды с мамой и тетей пришли туда мыться. Прятаться нет нужды, но я не в силах находиться в доме. Торопливо пересекая двор, я замечаю ползущую по земле зеленую гусеницу, нужно быть очень большой гусеницей, чтобы я ее заметила, ведь я не часто вижу что-то дальше собственного носа, и не то чтобы мне было до нее какое-то дело, просто насекомые неизменно вызывают во мне чувство брезгливости и отвращения, я понимаю, что все мы – твари Господни, но не в состоянии постичь умом их тайной жизни в непосредственной близости от человека. У гусеницы какие-то дела, заботы, какая-то работа, она для чего-то нужна, коль она творенье Божье. Она куда-то ползет, зеленая и целеустремленная, она живая, а Аля – нет. Это мошенничество, это ловушка, кто-то что-то напутал, перепутал дароносицу, которая всем нужна, которой я нужна, с жертвой.

Баня, разумеется, заперта, кто станет держать баню открытой в четверг, в такой час, но к себе домой я тоже не могу пойти. Мама, возможно, и согласилась бы, выдала бы мне быстрое и нервное разрешение на уход, но непонятно, где страшнее: со всеми – здесь или одной с Ними у себя дома.

Они пугают меня, надо признать, все реже, но девушка время от времени еще является, сидит на диване в зале, порой кажется, что ее тень различима даже через стекло в комнатной двери, хотя это иллюзия, и только, да, она приходит реже, но от этого не легче, ведь нужно постоянно держать в уме ее возможное появление или возможное отсутствие, а красивой она бывает только в моих снах, где у нее две черные косы с немного выбивающимися прядями, пушистые и толстые, мне о таких только мечтать с моим реденьким хвостиком, а когда она сидит на диване, голова у нее в крови и одежда в крови, она хочет, чтобы я ей помогла, но просьб не формулирует и молчит. Недавно я одолжила у Тани «Гамлета» и, тысячу раз споткнувшись на темных для себя местах, одно уяснила точно: чем больше ты говоришь другим о бывших людях, тем более безумным предстаешь перед лицом тех, кто их никогда не видел.

– Вот она, только она осталась, – громко говорит одна из двух сидящих на скамейке у окна женщин, с маленькой рюмочкой в руке, и тычет в меня пальцем. Это вторая Алина бабушка, со стороны отца, я видела ее прежде.

Соседка по скамейке заинтересованно глядит на меня. Баба Ханя выходит на парадное крыльцо и глядит на меня. Баба Геновефа стоит под яблоней без яблок, зато в тени, и глядит на меня. Все взоры устремлены на меня так, будто меня здесь видят впервые.

– Одна девчонка на весь род, – говорит вторая Алина бабушка немного заплетающимся языком. – Только парни остались теперь, только парни.

Всего несколько минут я постояла у бани, а вернувшись, попала как кур во щи. Или курица в ошип. На самом деле я не знаю, как правильно. Я ничего больше не знаю на самом деле. И, решая, к кому сбежать и к какому причалить берегу, чьей заручиться поддержкой и как оправдать свое существование, я выбираю тень яблони и бабу Геновефу, взгляд стремительно выхватывает бабу Геновефу, но ноги и нечто еще, нечто, чему я не знаю названия, поспешно несут меня в направлении крыльца, к двери дома, за которым горе, я утыкаюсь в грудь бабы Хани, она беспомощно кладет руки мне на плечи, и я плачу наконец, наконец плачу, одна-единственная оставшаяся девочка, но лучше бы мне не оставаться, мне так страшно, что лучше – не быть, однако я точно знаю, всем своим одиннадцатилетним нутром, кому страшнее и больнее, кому невыносимее и хуже, кто не плачет, чтобы не страдали ангелы, и кто вынужден сейчас заниматься всем на свете, кроме собственного горя, и я спрашиваю, уткнувшись ей в подмышку и не глядя в глаза: «Тебе очень тяжело, да?»

Можно было даже не сомневаться, что книги не будет. Такие редкие книги не залеживаются. Пока ты мечешься, то выгребая их из стеллажа, то снова откладывая, нерасторопным карлсоном обещая вернуться, они тем временем хладнокровно обретают хозяев.

Спустя неделю я стою у стеллажа с букинистикой и не верю своим глазам. Впрочем, это мое любимое занятие в последнее время – не верить в происходящее. Я решила попросить под каким-нибудь предлогом деньги у Деда, если книга будет, – он выходит на пенсию, ему дали премию, и, наверное, он не отказал бы. Я никогда не делала так раньше, ни у кого ничего не просила, тем более деньги. Иногда мне позволяли забрать магазинную сдачу, иногда, очень редко, мне их дарили. Но сейчас я попыталась бы попросить. Однако книги нет. И не имеет никакого значения, откликнулся бы Дед на мою просьбу или нет. Теперь я могу что-то узнать только в библиотеке. Странно, что это до сих пор не приходило мне в голову. И почему нам ничего не рассказывают в школе?

Пока я стояла, сначала прижимая к груди серую книгу с золотым тиснением, а после урывками жадно поглощая важное с последней ее страницы, пожилой мужчина громогласно вещал, подходя к отгороженному прилавку:

– Что это?.. «Советская Россия»?.. ХО-ХО-ХО! Бумага! Вы обратили внимание, какая бумага!..

...горвоенкомату сначала в областной военкомат, затем в Валсарбский районный военкомат...

– ...газетная бумага! Тонкая, гнилая... Советская Россия, хе-хе-хе, была советская, да вся вышла!.. А качество, качество печати каково?!.

...фотографии памятника, установленного на месте захоронения советских воинов, и в их числе...

– ...то ли дело! Кр-р-расные обложки! Все двенадцать томов, как на подбор!..

...вскоре и я получила фотографию: близ деревни Друйка на фоне голых ветвей под снегом стоит...

Этот пожилой мужчина еще долго хвастался собранием сочинений Дюма, который достал по благу десять лет назад для украшения интерьера, но так и не удосужился прочитать, поскольку предпочитает русскую литературу девятнадцатого века. Нет, не он купил мою книгу.

...близ деревни Друйка на фоне голых ветвей под снегом стоит обелиск

над могилой...

Близ деревни Друйка.

Две минуты по диагонали. От книжного до сквера, минуя кинотеатр, минуя унылые холмики несчастных евреев, по непонятной причине огороженные в последнее время. Две минуты от книжного до Тебя. Теперь я знаю, как Тебя зовут, и знаю, почему Ты так печален. Твоего имени действительно нет на плитах, я всегда это знала. И Ты хотел бы это изменить. Вот только Твоя тетя считает иначе, я прочитала это на последней странице ее «Воспоминаний», ей указали совсем другое место, понимаешь, место, где Ты якобы лежишь, и мне никто не поверит, если я приду и скажу, что на самом деле Ты стоишь здесь и смотришь на озеро, и разговариваешь со мной во сне, ведь Ты же никому не покажешься, я знаю, потому что кое-что уже смыслю, к тому же куда я приду? Куда я могу пойти? В белый дом-исполком, в музей, в военкомат? Я хочу Тебе помочь, ведь Ты – мой самый лучший друг, но нет ни одной живой души, которая мне поверила бы.

Сколько нужно времени, сколько часов / недель / месяцев должно миновать, чтобы кошмары перестали преследовать, сгладились, свернули свое представление, свой черный удушающий матрац и убрались восвояси, к другим, в тот чужой сундук, из которого уже не выберутся, потому что у меня нет сундука, где я могла бы их запереть, но он есть у бабы Хани. Каждую ночь он сбрасывает с себя покрывало, лежащее на его крышке, яркое домотканое покрывало в полоску, немного колючее на ощупь и неприятное к телу, сбрасывает откидную крышку с тяжелым блестящим замком, сбрасывает жестяные скобы и филигрань и обнаруживает лежащую внутри игрушечную Алю, которую я боюсь, которую хочу забыть, закрыть, но у меня нет ключа, ведь это не мой сундук, это бабы Хани сундук.

Моя память – будто навязчивый слепень, укуса которого пытаешься избежать. И вот уже мама снова говорит, что бантик нужен белый, розовый не подходит, нужен белый, непременно, и с ней снова никто не спорит, только вторят какие-то чашки за стенкой, позвякивая, пока их составляют в шкаф, потому что даже во время горя невозможно игнорировать потребность в хлебе насущном или в чае с печеньем, ее никто не слушает, только я опять думаю, что на платье розовые цветы и бантик с ними вполне гармонирует, пока мама раздраженно, словно в ответ на мои мысли, повторяет, что бантик нужен белый, и в ее руках, откуда ни возмись, вдруг возникают мельтешащие метры белого капрона, она наклоняется к Але так близко, что, кажется, готова улечься рядом, я отвожу глаза, до оторопи изумляясь маминой смелости, как она не боится такую Алю, которая не может быть Алей, но кем-то все же является, выхожу за дверь, каждую ночь, снова и снова выхожу за дверь, вижу бесчувственную тетю в другой комнате, лекарства на тумбочке, которые ей дают, чтобы она спала и ничего не помнила, чтоб ее не заботили бантики, не беспокоили тошнотворные запахи, вижу догорающую свечу, вижу икону с сердцем Иисуса, все остальное поглощает тьма.

Что сохранится, что я забуду, связанное с тобою, буду ли помнить эти узоры на этих обоях?

Каждую ночь меня теряют во сне, и я охотно теряюсь, растворяюсь в толпе незнакомых уличных зевак, подальше, там, где можно остаться никем не замеченной, включая фотографа, и исподтишка изучать пробужденную, похожую на подростка двадцатисемилетнюю Алину маму, утопающую в своем черном одеянии, Деда с огромным крестом в руках, папу со слезами на загорелых щеках, маму, которая так и норовит скрыть Алю от посторонних глаз за суетливыми движениями рук. Она расправляет белый бант, расправляет складки платья, расправляет цветы в венках, поглаживает кукольные ладошки холмиком, и я невольно поглаживаю и расправляю подол своего испачканного голубого платья, в котором хожу три дня, потому что не знаю, что надеть, никто мне этого не сказал, со мной вообще никто не разговаривает, впрочем, не только со мной, каждое слово сейчас весит приблизительно как шкаф, в этом сне так же

сложно говорить, как в обычных – кричать. Толпа превращается в лавину человеческих тел, голоса колокольным перезвоном озвучивают два слога одного слова: А и догоняющий его Ля, а в остальном тихо, никто не поет невыносимых песен, пока Алю несут к просто людям на Просто Кладбище, каждую ночь всю дорогу несут на руках там, где обычно ездят, напрямик к огромной яме, которая поглотит эту девочку-ангелочка, эту девочку, точно принцессу, хорошенькую такую, платье-то ты видела, до чего красивое платье, горе-то какое, надо же, я и цветов в Валсарбе столько не видела никогда.

Я отстаю на шаг, на два, на десять, меня уже никто не схватит, не скажет: хватит, на двадцать шагов отстаю, возле старой Юдовки, прямо посреди проезжей части остаюсь одна, асфальт плавится от жары, усыпанный лепестками из букетов, провожающих Алю, воробьи любознательно суетятся около. И что теперь, что теперь – непонятно. День стоит желтый, как пчелиные соты, липкий и вязкий, я стою и чую над собой Недреманное Око Кого-то Сверху, кто не простит, если я не брошусь вслед за процессией, кто будет ранить и бумеранить, выплескивая день желтый, как желчь, в мои ночные кошмары, если я не взгляну на Алю, хотя бы издали не взгляну на Алю, хорошенькую такую, точно принцесса, девочку-ангелочка.

Во сне время проходит быстрее или не идет совсем. Каждую ночь я бегу, но ноги отказываются повиноваться. Это чужие каменные ноги, чужой город, чужой сон. И тогда я лечу, просто передвигаюсь по воздуху, не очень высоко над землей. Летать довольно легко и совсем не страшно. Главное, не врезаться в каштан или в столб. И набрать побольше воздуха в легкие, чтоб не задохнуться.

Никогда еще на Просто Кладбище не было столько живых людей.

Пропустите, пожалуйста. От них пахнет потом и плесенью, пылью, мочой, луком, временем, пожалуйста, позвольте пройти. Мальчишка с соседнего двора, я его знаю, преграждает мне путь, пропусти меня.

– С чего это?!

Его монгольские глаза возмущенно округляются.

Потому что ТАМ – МОЯ СЕСТРА, кричу я или шепчу я, точно не знаю, пока ксендз что-то невнятно бормочет и отступает от ямы, а потом громко и протяжно восклицает: Ааа-мэн!!! – и я решаюсь с душой, уходящей в пятки, решаюсь и успеваю взглянуть на большую деревянную коробку и заметить, до чего у Али длинные ресницы, когда у нее закрыты глаза, я и не подозревала, до чего они длинные, кажется, будто я вижу тень от них на ее щеках, хотя по-прежнему держусь на почтительном расстоянии, то есть невыносимо далеко, но крышка уже опускается, и последнее, что успеваю выглянуть из-за нее, – это круглые голубые глаза Барби у Алиного изголовья, которые каждую ночь становятся все шире и изумленнее и преследуют меня, выбирающуюся из толпы, вместе с грохотом молотка, заколачивающего гвозди, вместе с грохотом сердца, вместе с Алей, сидящей на бордюре перед домом и недовольно вопрошающей, когда, наконец, просохнет ее платье и мы вычерпаем всю свою воду.

Иногда люди внутри пусты, иногда люди внутри кусты

цветущие, низкорослые, колючие, плодоносные...

Я боюсь жизни, чувствую, что от нее исходит угроза. Чувствую, что чем-то отличаюсь от других. Дело не в бывших людях, с которыми мне проще сосуществовать, чем с настоящими, не только в них. Жизнь бесконечно создает новые ситуации и диктует пугающие условия. Они предсказуемо опасны, а я ощущаю себя бессильной и беспомощной, не способной им противостоять. Не все жизненные правила, законы, требования я могу понять и постичь. И это причиняет мне боль. Временами хочется спрятаться от всего. Временами – просто исчезнуть.

Я хожу к Але и часами рассказываю ей о своих страхах. Она лежит прямо возле

дороги, недалеко от входа, в ограде с десятком разноцветных бантиков. Их регулярно меняет моя мама, потому что ей часто снится недовольная Аля, сетующая на развязавшийся бантик. В действительности бантик тут ни при чем. Аля недовольна тем, что не победит в конкурсе красоты, не наденет самое красивое на свете платье, не выйдет замуж. Невозможно довольствоваться уходом, если хочется жить. Алины планы и мечты были такие трогательные, я больше никогда не смогу ее потрогать, надо же, мне остается стоять и разговаривать с холмиком увядших венков, с тряпичными цветами, покрытыми наледью. Я чувствую, как она сердится на меня, ведь я не уверена, что хочу жить так же сильно. Что могу на что-то согнуться или быть полезной. Иной раз мне кажется, что я украла чужую жизнь и не знаю, что с ней делать.

Иногда люди внутри пусты, иногда люди внутри мосты...

Историчка сообщила, что в здании яслей была ставка гестапо, а в детском саду жили немцы. Однако, несмотря на оккупацию, добавила она, Валсарбу очень повезло. Немцы позволяли держать хозяйство и были очень добры. Я выкрикнула с места, что это неправда. Просто не смогла сдержаться. Историчка нервно засмеялась и сменила тему, а Кабукин велел мне заткнуться, потому что именно для этого и существуют затычки. В глазах окружающих я слабое и никчемное существо, Кассандра, которой нет веры.

Иногда люди внутри шуты, иногда люди внутри киты...

Чего не хватает на кладбище, так это скамейки. Приходится стоять, а это привлекает внимание прохожих. Должно быть, я выгляжу нелепо, когда стою, как изваяние, за забором, усеянным капроновыми бантиками. Но мне не привыкать слыть глупой, смешной, непонятной, невнятной, чудной и т. д. по списку. Когда нет цели, можно прекрасно стоять на месте. Когда нет ничего, можно не страшиться потери. Когда не знаешь, кто ты, можно притворяться кем угодно.

В какой-то мере я проживаю жизнь за одну маленькую девочку и одного убитого парня, люди считают меня странной, но ведь они не знают всего. А если бы знали, сочли бы еще более ненормальной. Но тут уж ничего не поделаешь, одним суждено быть счастливыми и нормальными, а другим нести парочку чужих крестов.

Иногда люди внутри просты, иногда люди внутри костры...

Иногда люди внутри чисты, иногда у кого-то внутри есть Ты.

Пирог по новому рецепту удался не хуже тех, июньских, для которых я перетирала клубнику со сметаной и сахаром. Теперь для теста требовалось какао, и надо же, я нашла целую пачку в шкафчике, где раньше стоял только порошкообразный польский чай, который есть гораздо вкуснее, чем пить.

Я уложила последнюю развалину графского шоколадного поместья на хорошо пропитанные коржи, когда зазвонил телефон и маминым голосом, не предвещающим ничего хорошего, сообщил, чтобы я никуда не уходила до ее возвращения. С какой стати, не сообщил. Ясно одно – мама где-то поблизости, но она никогда не задерживается дольше чем на час, очевидно, что она скоро придет, вот только мне пора на сольфеджио, при этом нельзя никуда уходить, и это действительно новость.

Я иду в зал, включаю телевизор, усаживаюсь на диван, почти на Нее, появляется холод в животе и гнетущее ощущение неуют, но не от Ее присутствия, нет, на сей раз меня пугает кое-что другое. Сдается мне, что я знаю, в связи с чем мама взяла такой тон, запретила выходить, сделав предупредительный выстрел. Точнее, звонок.

Мы с Ней сидим рядышком, можно сказать, держимся за руки, так бы оно и было, будь она жива. Сейчас я бы с удовольствием поменялась с Ней местами,

вычеркнула эту реальность, отменила, переиграла. Я готова сдаться Ей и позволить утащить себя на дно той бездны, которую она часто демонстрирует мне по ночам.

На дальней станции сойду, – поет телевизор, – трава по пояс, и хорошо с былым наедине. Замочную скважину сердито царапает ключ, ему не удастся попасть в отверстие с первой попытки. Так же скребется мое сердце, отчаянно стараясь выбраться из клетки, Сезам, откройся! – потом стремительно взмывает вверх, как дятел, постучать по вискам, пока душа пятится в пятки, бродить в полях ничем, ничем не беспокоясь, мама стремительно, как летчик-испытатель, несется навстречу штепселю, вставленному в розетку, по васильковой синей тишине...

Экран гаснет.

Я смотрю в окно.

Мысли тянутся, как удлинители. Ты позоришь своих родителей! Я – позорю своих родителей. Своей глупостью. Своим показным безразличием. Я – не девочка, я – дурочка, какой-то дефективно-ограниченный. <...> и не знаешь правил, ничего не можешь исправить, не хочешь себя заставить, я училась прилежно, твой папа учился прилежно, и в кого ты такая пошла, никакой надежды, никакого покоя, Господи, что же это такое. Ладно. Все. Ты не слышишь меня. Бог с тобою.

Я смотрю в окно.

Сейчас она пойдет в ванную, включит воду, попытается поплакать, но она никогда не плачет, на самом деле она не умеет плакать и не умеет смеяться.

Это потому, что мамина мама тяжело работала и не обнимала твою маму, говорит Баба. Ей было некогда. Но каждая мать любит своего ребенка, даже если ей некогда. Даже если она не научила его, как плакать и как смеяться.

Надо было мне тебя сразу усыновить, говорит Дед.

Подумаешь, девочка, знаем мы, где бы эта девочка была, на каком месяце они расписываться пошли, говорит дядя Митя.

Нельзя уйти из дома – скверно. Сквер но, верно. Наверное, в сквере уже появились первые желтые листья – красиво. Крась ивы, осень, полощи тополя и клены.

Сейчас она выключит воду, выйдет из ванной, войдет в кухню, поставит разогревать суп, увидит пирог. Раньше ей нравились пироги, она даже умела смеяться с Алей и хотела такую девочку, как Аля, а может, вообще мальчика. Но получилась я. Мы бы с ней друг друга не выбрали, однако Сверху решили, что будет так, никуда не денешься. На работе мама планирует, а меня она не запланировала и получила то, что осталось. Какую-то неправильную меня. Не оправдывающую ничьих ожиданий. Как с этим справляются другие, как им удается всем нравиться и все уметь: и ровно шить на швейной машинке, которую я никак не могу научиться правильно заправлять, и решать примеры с косинусами, и быть душой компании, и не огорчать родителей. Мне бы тоже хотелось, чтобы предметы всегда оставались в хорошо знакомых пропорциях. Чтобы конкретное победило абстрактное. Чтобы тени в моих снах не умели разговаривать. Думаю, никто другой меня и не взял бы. А мне, вообще-то, не очень-то и хотелось.

Я ложусь лицом к стенке и представляю, как мама заходит в комнату и садится на краешек дивана. Я притворяюсь спящей, и она дотрагивается до моего предплечья.

– Зачем ты спорила с учительницей истории? – спрашивает мама.

– Потому что она была не права.

– Думаешь, что знаешь предмет лучше нее?

- Думаешь, не больно осознавать, что ты за них? Даже если я не права? Ты не любишь меня, но...

- Глупенькая, с чего ты это взяла?

- Потому что ты отвечаешь вопросом на вопрос.

- Ты моя дочь, как же я могу тебя не любить?

- Очень просто. Родители не обязательно любят своих детей. И дети родителей тоже.

- Ну, конечно, я... - Она как будто прыгает в пропасть с обрыва. - Конечно, я люблю...

Мы крепко обнимаемся, и наши сердечные булыжники тоже падают в пропасть с обрыва. Там им и место.

Мама заходит в комнату и останавливается в дверях. Я притворяюсь спящей, и она мешкает какое-то мгновение.

- Ты не учишь уроки...

- Я уже выучила.

- Любопытно когда. Идем есть.

- Не хочу.

- Идем. У тебя получился симпатичный пирог.

- Я старалась.

- Лучше бы ты в школе старалась...

Мама садится на краешек дивана и дотрагивается до моего предплечья.

- Эта твоя классная руководительница... У тебя с ней проблемы? Как с первой учительницей?

- У меня нет с ними проблем. Но спасибо, что спросила.

- Она жаловалась на тебя... - Мамин решительный тон внезапно смягчается. - Только она какая-то странная. Не помнит, как тебя зовут! Всю дорогу она называла тебя Таней!

Мамины слова веселят меня. Я улыбаюсь, будто она поделилась невероятно удачной шуткой. Это правда, учительница действительно не помнит, как меня зовут. И не только меня. Классная руководительница невообразимо рассеянна и постоянно витает в каких-то облаках. Возможно, в такие моменты она мысленно пишет стихи.

- Прости меня. - Я порывисто прижимаюсь к маме, боясь, что она отстранится и ничего нельзя будет исправить.

Но она не отстраняется.

Я знаю, чего ей это стоит. Мне и самой не очень нравится обниматься. Я знаю, что у всех случаются неблагоприятные дни. Я понимаю, как часто ей приходится за меня краснеть. Я верю, что нужна ей, несмотря ни на (что?)

Несмотря ни на что.

Меня зовут Соня.

В день моего совершеннолетия мне подарили новую лату – отвратительную желтую звезду – и отобрали Клару. Клара была нашей лучшей несущей, и я прятала ее почти две недели в пристенке за дверью. Это было неразумно, я едва не поплатилась жизнью из-за курицы, но такой уж у меня характер. Моей семье повезло остаться в своем доме, ведь мы всегда жили под Замковой, но в середине апреля к нам подселили сразу тринадцать человек, двое из которых болели тифом. Тогда-то и начались грязь и голод. Пока можно было выходить, я собирала травы и растения. Например, корни папоротника прилично мылятся в воде, а рогоз можно есть. Но в мае застрелили моего отца Ханана за то, что он перешел на другую сторону улицы. Хотя там нет тротуара, и никогда не было. Но они решили, что это как будто бы тротуар, и один из них выстрелил, не раздумывая, прямо в отца. А другой рассмеялся, пнул отца ногой и сказал: «Хелись! Сэр гут!» И мы перестали выходить. Почти. Почти, потому что я все-таки выходила, поскольку была трудоспособной. А мама заразилась тифом и слегла.

Однажды, во вторник, всех девушек нашей улицы отправили мыть казармы. Я впервые за несколько месяцев встретила Розой, моей лучшей подругой, и мы так обрадовались, что даже немного шутили по дороге. Назад нас повели по другому пути, мимо нашей улицы, но мы так устали и проголодались, что поначалу даже не задумались о том, насколько это подозрительно. О самом скверном всегда думаешь в последнюю очередь, по крайней мере, стараешься не думать. На подходе к ямам Роза заплакала. Я не плакала, потому что мне казалось, что это сон. Мне и сейчас кажется, что это сон. Меня убили вечером во вторник, на северной окраине Валсарба, одной из последних. Девчата прыгали и падали, прыгали или падали, а я все никак не могла упасть в эту яму, попасть в эту пропасть, где уже лежали Роза и Эстер, и внучка старой Ривки, и Сара, и Рахиль.

Меня зовут Соня. Мне восемнадцать лет.

– Все люди рождаются для чего-то. У каждого человека есть свое предназначение, то есть задание, которое нужно выполнить. Кому-то достаточно только родить человека с великим предназначением, а кому-то необходимо стать таким человеком, понимаешь?

Четыре спицы мелькают в Бабиных руках, позвякивая, как мечи миниатюрных рыцарей, сражающихся за сердце Прекрасной Дамы.

– Понимаю. Простая девочка Мария стала матерью Сына Божьего. Не понимаю, зачем умирают маленькие дети. Зачем они рождаются, радуются, познают мир и умирают. Они становятся ангелами?

– Нет. Они остаются детьми. Просто у Пана Бога им лучше. Душа ребенка будет жить в Царстве Небесном. Это ее предназначение.

– Но их близкие страдают... Это несправедливо!

– Сын Божий тоже страдал, детка. Ксендз говорит: Бог неизреченен, неведом, невидим, непостижим. Для Бога нет мертвых. Когда мы тяжело бодем – это наша покута, когда мы теряем близких – это наша покута.

– Покута означает искупление?

– Покута значит покаяние. Мы не всегда можем искупить свои земные грехи сразу, но можем в них раскаяться. Когда мы, несмотря на наше горе, продолжаем верить в Пана Бога, это наша дорога в Рай.

Судя по Бабиным описаниям и рассказам, Рай – это деревня летом. Деревню окружают бескрайние зеленые луга, фруктовые сады и леса, прозрачные реки

с песчаными берегами. И озера, конечно. Куда прекраснее, чем в Валсарбе, хотя наши, я уверена, ничуть не хуже. Честно говоря, ее представление о райских куцах кажется мне малопривлекательным. Грешным делом, я думаю, что хотела бы увидеть Париж больше, чем Рай.

Устройство мироздания не очень-то справедливо. Кто-то рождается в золоченом дворце, а кто-то в безнадежно голодной пустыне, кто-то глупым Валетом, а кто-то собакой святого Роха. Эти труднодоступные истины все еще непостижимы для меня, и пока Бабины металлические вояки ваяют под ее командованием теплые серые носки, я ухожу искать свое предназначение.

Двор цвета Бабиной пряжи прячет осенние краски по карманам надвигающейся непогоды. Небосводу сводит скулы, того и гляди он выплюнет все, что накопил за последние недели. По общей тропке торопливо, чтоб успеть до дождя, идет Алеська с кочаном капусты. Он такой грязный, будто она нарочно вываляла его в черноземе.

– Алесь, ты знаешь, какой у тебя талант?

Я сбегая со ступенек ей навстречу.

– Не знаю. Мне некогда.

Алеська настроена доброжелательно, но, видимо, действительно торопится.

– А кем хочешь стать, решила?

– Парикмахером...

Это довольно неожиданно. Да что там, сногшибательно. Во всяком случае, для меня. По многим причинам. В основном потому, что желание стать парикмахером не может возникнуть у человека, которому на двенадцатом году жизни частенько требуется помощь в создании ровного хвостика без «петухов» из тонких, жиденьких волос.

Но на Алеську я все же смотрю с сомнением. Ее голова тоже не отличается изысканными прическами.

– Ты умеешь стричь? Причесывать? Тебе это нравится?

– Не знаю. Мама говорит, что это хорошая работа. Нетрудная, непыльная, и без куска хлеба не останешься.

В воздухе стремительно появляются длинные капли. Тяжелые, как рыбины, которые идут на нерест.

Алеська убегает, не прощаясь, выставив перед собой грязную кочерыжку.

Я неправильно сформулировала вопрос, не о том спросила. Получился вопрос о профессии. И я догадываюсь, почему спросила так, а не иначе. Из гордыни. Я не поинтересовалась у Алеськи, в чем она видит свое призвание, потому что решила, что она меня не поймет. А ведь она младше всего на пару месяцев.

Из серого дуршлага сверху сыплются длинные мокрые макароны, резко холодает, и я возвращаюсь в дом. Спицы в Бабиных руках заменил ружанец – ярко-рыжие четки, которые она перебирает, неслышно бормоча молитву. Баба всегда молится, когда остается одна. Если не молится, то вяжет. В одном и том же углу.

– Баба, – шепчу я, бестактно прерывая ее аудиенцию с Паном Богом, – профессия парикмахера может стать призванием?

Баба положительно кивает головой, не прерывая своей молитвы.

– Неужели бывает такое странное предназначение?

- Не боги горшки обжигают, - говорит Баба.

Я выхожу из кухни, потрясенная.

С одной стороны, Иосия уже в восемь лет стал царем, с другой - моя умница Баба всю жизнь работает прачкой.

Призвание и предназначение - не одно и то же, вот в чем дело. Так же, как покаяние и искупление. Кому-то не удастся обзавестись своим домом, кому-то встретить свою любовь, кому-то найти свое призвание. Это прискорбно - как пишут в переводных романах.

Я захожу в комнату, в комнате сидит кот. Кот у дивана - а на виду тоК.

Мы оба вздрагиваем от неожиданности, кот, спохватившись первым, выскакивает в приоткрытую дверь. Я догадываюсь, почему Баба начала привечать чужих котов. Все средства хороши, если есть угроза быть съеденным, а мальчика из Гамельна нет.

На трельяже лежит Дедова благодарность за успехи в труде и еще какие-то нужные документы. Дед выходит на пенсию. Автомеханик по призванию, мой любимый Создатель по предназначению.

Предназначение есть у всех. Но и его отыскать нелегко. Не хочу думать о тех, кому написано быть мелкими или отъявленными негодьями. Гораздо интереснее размышлять о судьбах масштабных личностей. Дебора помогала пресекать распри, Давид обрел царство, причем чуть ли не в одном исподнем сплясал на глазах у Пана Бога, Моисею удалось повести за собой целый народ. Мне тоже хочется кого-нибудь спасти, увести, обрести и найти предназначение. Однако пока я устаиваюсь только презрения и пренебрежения, а мое будущее выглядит весьма туманно. Я лишь бестолково скитаюсь по пустыне, как вздорные израильтяне, и не знаю, как долго это продлится и что я делаю не так.

Медные и охряные цвета осени с тугим, как пенка кипяченого молока, утренним туманом очень к лицу Деду, он сливается с этой гаммой, сам состоит из капель и намеков, неразрывно и бесспорно гармонирует с природой, ибо все на нем коричневое, все известные мне брюки его - коричневые, жилеты и пиджаки коричневые, вечный вязаный свитер - коричневый. Дед в коричневой куртке держит коричневую корзину и собирает только рыжие и шоколадные грибы.

Еще так рано, что я и не помню точно, как мы сюда попали, должно быть, я всю дорогу спала, ехала машина темным лесом за каким-то интересом, наверное, прошло немало времени, прежде чем мы с ним, только вдвоем, вдруг очутились в березовой роще, которая тоже в гармонии с белым небом и с Дедовыми березовыми, черно-белыми волосами. Инте-инте-интерес, выходи на букву «с». Слепое солнце сухо салютует сентябрю. Пожухлые листья бронзовеют под ногами, как медяки.

Дед показывает мне, где боровик, где подосиновик, но я безнадежно глупа, не вижу разницы, по многим вопросам у меня имеется общее представление, а углубиться в них не получается, как ни стараюсь и сколько ни смотрю, все равно не умею отличить карпа от сазана, ВАЗ от «Москвича» - разве только по цвету. Мой мир ограничен словами, названиями и значениями, художественные зарисовки и детали чужды ему, как пейзажная лирика - Библии. В некотором роде я живу в Божественном мраке, ставшем моим неприступным светом.

Кукушкин лен устилает всю территорию от березовой рощи до хвойного леса, куда мы направляемся, земля неприятно пружинит под подошвами резиновых сапог, болотистые почвы пугают меня, от них поднимается холод, пробуждаются воспоминания о неотвратимом будущем, я невольно вздрагиваю, и Дед молча набрасывает мне на плечи свою огромную куртку. Одни деревья точно над землей

повисли. Другие, будто рогатые олени в молочной дымке, исподтишка подглядывают за нами. Мне всегда не по себе в лесу, всем известно, как он изменчив, будучи обманчиво неподвижным.

Я безотчетно оглядываюсь назад, взглядом выхватывая лисью морду Дедова автомобиля. Самого оранжевого автомобиля на свете, цвета сумасшедшего апельсина, взорвавшего охряный монохром Дедовой жизни. Я смутно ощущаю связь картины Репина из школьного учебника, где длинноусые и лысые люди пишут письмо султану, с этим автомобилем, ибо эти люди и эта машина называются одинаково, но куда явственнее для меня из этого названия выпрыгивает рожица с удивленными круглыми глазами-фарами, рожица «Запорожца». Машина еще рядом, пока рядом, рукой подать, Дед то и дело кладет в плетеную корзину свою добычу, а я беспомощно оглядываюсь вокруг.

Грибы прячутся, их нужно искать, говорит мне Пан Бог Леса, собирай сыроежки, они красные и видны издалека.

Их едят сырыми? Ты ел? А мыть их нужно или можно прямо с земли?

Не стоит их есть сырыми, лучше отварить, не знаю, зачем их так называли, ты голодная? Дать тебе хлеба?

Полагаю, что не вижу грибов, потому что плохо вижу в принципе, а что, если я пошла в прабабку Казимиру, что, если мне придется вставлять искусственный глазок, а твоя мама, какая она была, у нее было хорошее зрение?

Моя мама Леокадия была красавицей. Даже родив нас четверых, оставалась красавицей. Однажды во время войны она пошла через лес предупредить партизан, что рядом с нашей деревней стоят немцы. Но не дошла... В общем, ей пришлось вернуться. Она была красивая, даже в войну, когда ей уже было под сорок...

Почему она не дошла?

Смотри-ка, а этот гриб называется польским, польский гриб почти как боровик, только, если надрезать, он синееет...

Почему она не дошла?

Один из гитлеровцев помешал ей. Он мог ее убить, но не убил, хвала Богу, а это колпак. Хороший гриб, но мы его не будем брать, его солить хорошо.

Как он ей помешал?

Она несла ридикюль, повезло, что в нем не было ничего... Повезло, что сообщение было устное, понимаешь? Ей нужно было на словах передать, что немцы почти вошли в деревню...

Как он ей помешал?

Отобрал ридикюль.

Дед останавливается и запрокидывает голову, словно ждет, что сверху на него обрушится душ. Или все небо целиком. Меж тем я жду, когда на меня обрушатся тайные сведения.

он отобрал ридикюль открыл его надеялся что-то найти что-то другое но там были только деньги нельзя сказать что это были какие-то большие деньги но это были все деньги нашей семьи и он забрал их не знаю почему они там были зачем она несла их куда но он забрал и разорвал мамино платье на груди такое платье где много пуговичек он разорвал ее платье на груди он думал что она прячет пакет что она прячет посылку понимаешь прячет что-то от него от них всех он разорвал ей платье рванул и все пуговички посыпались и она заплакала а он засмеялся она скрестила руки она хотела собрать пуговички как грибы собрать потому что платье

было одно а пуговиц не было ни одной нигде а он засмеялся а потом

Я поняла, я поняла, ей пришлось вернуться, – хочу крикнуть я, но на самом деле, бросив ведро, порывисто обнимаю Деда, порывисто обнимаю мальчика, своего ровесника, у семьи которого фашист забрал последние деньги, обнимаю почему-то не за шею, а за талию, точнее, обнимаю его большой живот, а он хлопает себя по карманам, в поисках папирос, которые лежат в куртке, которая на мне.

Я люблю тебя. Погляди, что это за гриб?

Я люблю тебя больше. Это поганка.

Барса настороженно спрыгивает с дивана, недовольно одаривает меня мутным взглядом цвета огуречного рассола, ее зрачки сверкают, словно маячки. Демонстративно поводя полосатым хвостом, она бесшумно, будто на цыпочках, преодолевая ревность к тебе, выходит из детской.

Светлое пятно от настольной лампы озаряет каштановый бок пианино, спинку твоего стула, твои волосы, тетрадь, в которой ты пишешь, руку, которой ты пишешь.

С каждым днем ты все больше становишься похожей на меня. Ты на меня, потому что я на полгода старше. Мелкие отличия компенсируются одеждой, которую наши родители покупают нам, попадая в одинаковые фасоны и расцветки. Не умышленно, это выбор сейчас такой, точнее, его отсутствие. У нас одинаковые пурпурные куртки и серые шапки-капюры, одинаковые рейтузы и сапоги. И волосы у нас одной длины. У меня прямые, рыжеватые, склонные к жирности, у тебя непослушная желтоватая проволока, как у Иоанна Крестителя Леонардо, норовящая завиваться кольцами. Ты ведешь с ними усердную борьбу. Если волосы не мыть дольше трех дней, они становятся сальными и не такими упрямыми. У меня голубые глаза, холодные, как льдины, иногда бесцветные, у тебя теплые, желтовато-зеленые, немного Барсины. У тебя ярче брови, я сильнее сутулюсь при ходьбе. Пожалуй, на этом наши отличия заканчиваются. Мы обе угловаты и тихи, наши движения непредсказуемы и резки, у нас обеих плохое зрение, мы одного роста и телосложения и почти неотличимы со спины. Мы, точно подлежащее и сказуемое, действуем в определенных обстоятельствах с необязательными дополнениями.

Ты закрываешь тетрадь, мелко исписанную бисером уравнений, – у меня размашистый и крупный почерк, еще одно отличие, – поворачиваешься ко мне всем корпусом, над тобой сияющий ореол – лампа освещает твои вьющиеся волосы, получается нимб, улыбаешься и, близоруким взглядом исследуя мое лицо, спрашиваешь:

– О чем думаешь?

Я думаю о том, что, родись я на полгода позже, все было бы иначе, и мы могли бы ходить в один класс, о том, что на этом пианино никогда нет пыли, а в квартире – Барсиной шерсти, хотя это нелогично, ведь кошка должна линять, о тишине этой квартиры, в которой не водятся Они, хоть эту квартиру и мою квартиру разделяют только два подъезда, о том, почему я никогда даже мысли не допускаю, даже не пытаюсь пригласить тебя к себе, по умолчанию никто не может прийти ко мне домой вечером, после пяти, когда дома мама и, возможно, папа тоже, но как давно и кто придумал это умолчание, мои родители или я сама, боюсь ли я при них ввести в свой дом постороннего, или мне это запрещено? У тебя дома и мама, и папа, но мое появление в твоей детской в любое время обыденно и естественно, как январский снег, при условии, что ты выучила уроки и я не помешаю. Думаю о том, что когда-нибудь напишу книгу, стану известным писателем, нет, поэтом, и мои мысли и чувства будут интересовать не только Таню.

Любопытно, что это: тщеславие или гордыня – желать подобное.

– Я думаю о том, что когда-нибудь напишу книгу...

– А я там буду? – смеется Таня.

– Может быть. Не знаю. Да. Если хочешь, да.

– Ты напишешь много книг и стихов и станешь известным писателем. А я выучу английский в совершенстве и уеду жить в Америку. Только мне нужно долго заниматься и лучше с репетитором, потому что то, чему меня учат в школе, – это не английский.

Когда меня определили во французскую группу, я негодовала сутки напролет. Посредственным детям с посредственными родителями, не занимающимися высокого положения в обществе, полагалось довольствоваться французским, и точка. Было бессмысленно обращаться к классной, которая никого не замечает, с трудом различая, кто из двадцати семи человек кем является, что еще оставалось – пойти к учителю напрямую? Заручиться поддержкой директора? На такие подвиги я была не способна. И мама тоже. Хотя, возможно, и обсудила с кем-то этот вопрос, потому что вечером того же дня сообщила, что французский язык – очень перспективный и в обозримом будущем потеснит с пьедестала не только немецкий, но и английский.

Я легла спать в таком душевном расстройстве, что с наступлением ночи можно было ожидать появления тягостных сюжетов с их истинами из тины, откуда не найти выхода до утра. Но Он смеялся во сне. Впервые со времени нашего знакомства он казался таким счастливым и, увлекая за собой, неизменно повторял: мёд он, мёд он, кла мар, ванв. И я вспомнила. Вспомнила, как часто Он выводил на песке в моих снах: Meudon, Clamart и Vanves. Ведь с латинскими буквами у меня всегда было лучше, чем с кириллицей.

Однажды я поинтересовалась у учителя французского, как связаны эти места друг с другом. Он очень удивился и похвалил мое стремление к самостоятельному изучению географии Франции. Воодушевился настолько, что пообещал выдвинуть меня на районную олимпиаду по французскому. Правда, ничего существенного по поводу этих городов пояснить не смог.

Позднее я поняла, что нечто в нашей жизни предопределено. Но не всё. Не всё.

Таня объясняет мне, как много в английском языке времен и как важно в них не путаться, показывает коленкоровую тетрадь, в которой она выполняет задания репетитора, рассказывает, что ей принесли видеокассету с фильмами на английском с субтитрами.

Танины знания кажутся бесценными. Мне мешает моя бесцельность. Все это время я неотступно думаю о том, что делать мне и с чего начать свои поиски. И с чего начать. Вспоминаю слова, которые сегодня удачно перевернулись. Шрам – марш, барашек – кеша раб, молоко – око лом. Матушкин шелк – клеш ни к шутаМ. Главное, не забыть их.

За Таниным окном пляшут едва различимые снежинки. Для начала нужно просто жить как можно осознаннее, никаких поблажек. Возобновить дневник, записывать дни. Эта мысль неожиданно окрыляет меня. Я хватаю ее за хвост, пока вечер не успел припорошить ее снегом.

Все просто. Живи так, чтобы было о чем писать.

Смотрит прямо в глаза, кроткий, как волк святого Франциска, говорит: соглашайся, я буду тебя защищать, если ты согласишься. Никто и пикнуть не посмеет, вот увидишь. Все от тебя отстанут.

Кажется, я готова заплакать. Растроганно разрыдаться от переполняющих меня

чувств. На душе тревожно и радостно одновременно. В происходящее трудно поверить. И могу ли я ему верить? Зачем ему это?

– Зачем тебе это?

– Ты симпатичная девчонка и, по-моему, умная. Понимаешь, я считаю, что у нас образцовый класс, на самом деле, хороший же класс, если подумать, не то что «ашки» и «бэшки» всякие, нужно стать сплоченнее и дружнее. Девчата больше не станут смеяться над тобой, вот увидишь. Если хочешь, я могу тебя даже домой провожать...

Вероятно, девочкам пока неизвестно о планах Кабукина или известно не все, потому что они бросают в нашу сторону недвусмысленные взгляды и беззастенчиво смеются.

– Тебе же в другую сторону, как же ты будешь меня провожать...

Кабукин мне совсем не нравится. Но, возможно, я ошибалась и он нормальный парень. В целом это обычный тихий троечник, однако учителя говорят, мог бы учиться лучше, если бы меньше паясничал и больше занимался. Я и сама хороша: при весьма приличных оценках каждый триместр с трудом выбираюсь из двойки по математике.

– Это ничего, мне даже интересно по твоему району гулять. У вас красивые высокие дома... – Неожиданно он кладет руку мне на плечо. – Бывало, я тоже... задевал тебя по глупости...

Звонок визжит, как раненый поросенок, я не успеваю ничего ответить, Кабукин перепрыгивает через парту на свое место.

Молодой учитель, имя которого в прошлый раз никто не удосужился запомнить, замещает на этой неделе нашего старого расхворавшегося географа. Протрусив к рабочему столу и едва открыв журнал, он с ходу вызывает меня отвечать по градусной сетке и координатам. Я иду к доске, решая мазюкать параллели и меридианы как можно дольше, чтобы любителям буравить меня взглядом предоставить для этой цели меньшее из зол – свою спину. Рисую кривой блин – будущий скособоченный глобус, думаю о предложении Кабукина, слышу его голос.

– А у вас есть кличка? – спрашивает Кабукин.

Задние парты приходят в движение, раздаются плохо сдерживаемые смешки.

Учитель спокойно отвечает, что клички бывают только у собак.

– А у нее есть кличка. Зовут ее – Затычка.

Кабукин говорит в рифму, я ловлю себя на этой мысли прежде, чем до меня доходит смысл его слов. Медленно, как во сне, я поворачиваюсь лицом к классу, фразу Кабукина сопровождает всеобщее веселье и отчаянный стук по столу преподавательской указки. Я почти купилась. «Почти» почтительно и торопливо сметает ошметки зародившейся в сердце надежды. Холодное солнце демонстрирует мою гулливерскую тень, прибитую плинтусом к полу.

Он смотрит на меня с презрением, как Голиаф, бросающий вызов.

Валсарб – это город-остров. Он скрыт среди озер и жаждет покоя. Пока его не трогают, он спит. Или притворяется спящим. Может показаться, что у него расстройство памяти, но он все помнит, только напоказ не выставляет. Его подлинник спрятан от глаз пришлых и чужих, черновик тщательно замаран и почти нечитаем, а на поверхности лежит то, что позволяют себе ворошить люди без предрассудков. Время в Валсарбе давно остановилось, но люди

без предрассудков имеют склонность вторгаться в живую природу со своим уставом. К счастью, их не много. Люди без предрассудков не верят в приметы, богов, отмищения и проклятия. Они вносят новые правки в черновик Валсарба в надежде, что он их проглотит. Меняют ландшафт, дают разрешение на снос кладбищ, бездарно реконструируют старые застройки. Мнят себя изобретательными: с багажом знаний, с избытком желаний. Не задумываются о том, не задели ли ненароком жизненно важных органов. Но Валсарб лишен логического мышления, плохо поддается внушению и перемен, разумеется, не прощает. Просто люди без предрассудков пока об этом не знают. Им не хватает истинного понимания вещей и бог знает чего еще.

Люська выскакивает как черт из табакерки, едва не сбивая меня с ног, а визжит так, как верещат только в кино, когда персонажи оказываются лицом к лицу со смертельной опасностью. У меня ни за что так не получилось бы, думаю, что я не способна издавать высокие звуки в принципе. Впрочем, завопить басом на всю округу я тоже, наверное, не смогла бы. Когда мне страшно, мой речевой аппарат ломается, происходит нечто вроде паралича, внутренний тумблер щелк – и выключается. Я молчу, пока ор царит где-то глубоко во мне, в непроходимой чаще внутренних органов и страха, которым заполнено мое нутро.

С тех пор как девочки начали заигрывать с парнями во дворе, мы с Люськой совсем отделились друг от друга. Она по-прежнему тепло улыбается при встрече, еще одаряет меня заинтересованными взглядами, но теперь мы лишены даже представления о том, кто из нас как живет. Наши мировоззрения разошлись, мы разные, как озеро и асфальт, незримо связывают нас лишь бывшая дружба и невинные секреты детства. Мне не интересны дворовые забавы, а она сделалась главной кокеткой. Ее больше не смущают веснушки, должно быть, с некоторых пор она считает их своим достоинством. К тому же Люська поправилась, округлилась и кажется вполне довольной жизнью.

Она заскакивает в подъезд со своим душераздирающим визгом в тот момент, когда я выхожу. Дверь за моей спиной взрывается хлопком боевой гранаты, я невольно морщусь, стою под козырьком, пытаюсь вникнуть в происходящее, но поблизости нет ни казаков, чей штаб находился бы под угрозой разорения, ни разбойников, изобретателей двусмысленных попыток для визжащих пленниц. Есть только Валик, глуповатый парень из моей параллели, живущий в последнем подъезде. Он стоит неподвижно и улыбается мне навстречу, будто я тоже в игре, будто я – часть этого действия, туманного и еще непостижимого, будто я таинственным образом причастна к происходящему. Я смотрю ему в глаза так долго, как могу, до тех пор, пока у меня не начинает двоиться, только чтобы не видеть того, что он держит в протянутой руке. Это что-то – грязно-рыжее, сеет на асфальт порошкообразный песок, тоже рыжий, на тон светлее. Это что-то твердое и немое, мертвое, но и живое. Анатомия будет у меня только в будущем учебном году, но нельзя не узнать эту вещь, этот объект, экземпляр, эту штуку, этот предмет, который сложно назвать, но нельзя не узнать. Каркас, часть чьей-то головы, череп, лишенный свода, но не лишенный зубов. Теперь я мучительно долго смотрю на него, смотрю не отрываясь, пока озноб бежит по моей спине, смотрю, а головоломка не складывается, чем больше смотрю, тем меньше понимаю, почему, почему, я спрашиваю себя, но, должно быть, вслух, должно быть, спрашиваю у Валика, разве так бывает, почему он такой маленький.

У Валика округляются глаза и сползает улыбка.

– Ты не боишься? Тебе не страшно?

– Почему он такой маленький?

– Не знаю... – Валик задумчиво вертит его в руках, точно оценщик – товар в антикварном магазине.

- Где ты это взял?

- Ты разве не знаешь? Все знают. На еврейском кладбище. Там все перекопали. Там столько этих черепушек!!! А костей так и вообще...

Внутри меня лопается какая-то пружина. Очень быстро и очень болезненно. Я отступаю на шаг назад, чтобы устраниваться от его слов, распахнутая дверь подвала бодает меня в лопатку.

- Отнеси это на место. Немедленно. Туда, где взял.

Мой голос спотыкается на всех гласных звуках, Валик перебрасывает свою чудовищную находку из руки в руку.

- Вот еще! Делать мне больше нечего. Там знаешь что творится? Да пацаны уже столько их натаскали оттудова, кто девок пугать, а кто подстаканники делать. Для карандашей там или такие, вроде подсвечников...

Мне кажется, что все это происходит не на самом деле, что этого не может быть, это немыслимо и невозможно, просто какой-то бред, как во время долгой лихорадки, когда путаешь явь и навь, необъяснимый тревожный шум нарастает во мне, оглушительный звон, перебивающий слова, как в плохо настроенном транзисторе, но Валик панибратски продолжает свой рассказ, разглядывая череп, словно драгоценный кубок, то отводя, то приближая его к глазам:

- ...как у пиратов, знаешь, у них на столах всегда черепушки с перьями стоят. Да не переживай ты так. С кладбищами рано или поздно такое случается. Мне мамка говорила. На месте нашего дома, вот тут, тоже, по слухам, было кладбище. Древнее, конечно. Не такое, как еврейское. Но еврейское кладбище нарушает архитектурский план города. Там школу построят. Все знают давно уже.

Почему я не знала. Почему я не знала.

Я бегу, не веря в то, что я бегу, не заботясь, что на улице Стадионной меня может кто-нибудь увидеть, спросить, что случилось, а случилось страшное, я почему-то не знала, погоди, ты не знала, но разве можно было что-то изменить?

Этот город звучит как ми-бемоль. Неизбывная тревога в груди. Взяли струну и перевязали мне горло. И грудную клетку. Мое сердце вырывается из ее силков. Только напрасно.

Ми-бемоль, ми-бемоль, ми-бемоль – постоянная паника. Ожидание удара и желание побега. Хочется заткнуть уши – вот как звучит этот город!

Кто-то целенаправленно нажимает клавишу фоно: ми-бемоль ми-бемоль ми-бемоль – талдычит пульсирующий ритм, чтобы свести с ума мою душу.

Протяжное, уверенное – всегда крещендо.

Пока я бегу, ми-бемоль начинает соревноваться с си основной октавы. Си – сирена, сигнализация, символ, синица, неуловимая Сильфида, наказанный Сизиф. Дело не в словах. Не в их значении. Просто взять ноту си на любом инструменте и сверить сердце. Выйдет тождество звука и чувств.

Стаккато этих нот этого города, наверное, могут убить.

Издалека видно, что захоронения больше нет. На этом месте работает тяжелая техника.

И тебя нет. Тебя тоже нет. Я больше тебя не вижу. Хоть иду прямо на тебя. Прямо по тому, что от тебя осталось под ногами, где-то глубоко под землей. Закопан – напока3.

Прости меня. Янем итсорп. Я – нем. Я не М. «Прости» наоборот оседает пылью, превращается в мусор, чепуху, песок, консервные банки, лоскутья, иглы, перья, пух, прах: итсорп.

Это противоречит всякому здравому смыслу, просто нелепейшее недоразумение, как и ранение мое: сущий пустяк, gâteau (хотя, надо признаться, кровищи вытекло предостаточно, так что – шут его знает). В любом случае Нина чудесно наложила повязку, она – настоящая умница, к тому же у нее длинные ресницы и она привлекательно отводит волосы от лица тыльной стороной ладони. Я цепляюсь за любое воспоминание, стараюсь мысленно зафиксировать его, чтобы перенести в дневник, потом, когда все это закончится, точнее, я цеплялся, нужно использовать прошедшее время, но привыкну ли я говорить о себе в прошедшем времени? – совершенно очевидно, что не привыкну, как и мой товарищ, узбек Гали, никак не могущий уяснить, что на его родине я прожил не меньше, чем в Москве, поэтому называть меня «москвичом» нелепо. Этот хитрец только щурит свой и без того узкий глаз и улыбается.

Когда санитарный обоз перестало трясти, мир тоже замер и остановился. В ушах пульсировало и скрежетало, точно изношенная игла патефона, не могущая отыскать пластинку. Перед глазами заплясали вспышки, и больше я ничего не помню. Когда нас привезли сюда, меня никто не замечал. Я обращался к ним, звал, даже повышал голос, даже дернул одного паренька из местных за рукав, чтобы он включил меня в списки. Я твердил: «Рядовой Эфрон, запишите, я – рядовой Эфрон...» Это продолжалось довольно долго. Но я так и остался неслышанным.

Я умер знойным июльским днем тысяча девятьсот сорок четвертого года. Когда я об этом забуду, от меня ничего не останется.

Каждой душе нужны свидетели. Душе необходимо, чтобы ее назвали, окликнули по имени и где-то задокументировали это имя. На день или на тысячелетия сохранится оно – не душе решать. Но не существует отчаянья сильнее, чем отчаянье безымянной души.

Безымянные души не успевают попасть в мир теней, оттого лишены покоя на земле. Они обреченно скитаются по чужим снам, которых к утру почти никто не помнит, пытаются подружиться с маленькими детьми, потому что только дети никуда не торопятся и способны замечать их присутствие, и разочарованно топчутся рядом со своими бывшими телами, пока те не истлеют, пока от них не останется ни одного атома. Вместе с былым воплощением безымянные души лишаются обрывков памяти. Они больше не посещают сны и не пугают младенцев. Безымянные души сидят, точно пригвожденные, на месте своего захоронения, того, без надгробного камня, креста или просто таблички с прочерком между датами рождения и смерти, сидят в ожидании Страшного суда, когда Пан Бог явится и каждого вновь назовет по имени. Ему не требуются подсказки, он прекрасно осведомлен, кто и как исполнил Его волю. Но безымянные души – обычные грешные люди и, подобно Авессалому, нуждаются в свидетельствах своего существования.

Нет больше ночных призраков на сонных дорожках по пути в уборную, я их прогнала. Велела выметаться. Запретила появляться в моей комнате. Бросила. Отреклась. Сняла с себя ответственность. Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Вот пусть Он ими и занимается.

К тому же, если сам Бог – умер, разве кто-то другой имеет значение? Разве что-то другое имеет смысл?

Они меня не послушали, надо признать. Стали тише и печальнее. Растворяются абстрактными образами, рассеиваются нечеткие, почти незаметные и смазанные, если в комнате не полумрак, не полутень и светит не полумесяц. Но я знаю, что они по-прежнему прячутся по углам. Пока я на улице Великой прячусь в углу за хаткой, сидя на грубо сколоченном ящике, поросшем паутиной, и у меня мерзнут ноги. Октябрьское солнце тщетно пытается продрасть сквозь стекловату облаков, в моей голове гулко, как в космосе, из-за яблоневых веток кто-то сверху следит за мной, молча наблюдает, как я сижу в углу за хаткой.

Как же так, я спрашиваю себя, как же так, я спрашиваю тебя, ты же просто вышел в сарай. Возле сарая ты выронил ключ, нагнулся за ним, упал, поднял ключ, а сам не поднялся. Вышел и не вернулся. Вернулся, но уже не собой, не тобой.

Как же так, это какая-то ошибка, и твой новый серый костюм, и твои новые блестящие туфли, все недоразумение, какая-то необъяснимая путаница с тяжелыми путями. Водоворот минут утекает за шиворот, пока я сижу здесь в углу и обнимаю то, что осталось от тебя, – коричневый вытертый пиджак, остро пахнущий самокрутками.

Что я сказала? Я сказала, что тебе не идут усы. Почему я смеялась? Я убеждала, что растительность тебе не к лицу. Я так несуразно несла разную чепуху... Ты обиделся, встал, ушел в сарай и не вернулся. Так мне и надо.

Твое небытие очевидно, но невероятно. Вокруг присутствуют какие-то люди, но я совершенно одна, как не впущенный гость в передней посреди бестолковой прислуги: «Не видали владельца?» Я все жду, что ты появишься из-за угла и я пойду к тебе навстречу. Я всегда иду к тебе навстречу. Куда мне теперь идти? Что мне делать теперь – твоему подобию, образу, кальке и подражателю? Придумай что-нибудь, сделай так, чтобы это было неправдой, говорю я тебе, говорю я себе.

Холодно. Сегодня так холодно, а я всю ночь собирала вишни. Такой сон. Вишни – это слезы, но я не плакала ни секунды, у меня не получается.

Мне миражами мерещится мир, где ты указываешь на тонкий нарцисс (вот здесь), точно вырезанный из папиросной бумаги, и шелковый тюльпан (вот здесь), которые весной вырастут без тебя. Или не вырастут без тебя. Холодно. Я пытаюсь накинуть твой пиджак себе на плечи, как это делал ты, и, точно по мановению волшебной палочки, из всех карманов на землю сыплются жвачки. Кажется, даже из подкладки. Уму непостижимо, где ты купил их и спрятал от меня, чтобы выдавать поштучно. Последние жвачки, падающие на последние опавшие листья, удивительно монохромно сочетаются с землей и цветом твоего пиджака. Твои любимые краски.

Ты есть во всех моих воспоминаниях. Благодаря твоей тринадцатилетней любви я такая сильная, что никогда не сойду с ума. Даже сейчас, когда можно бы. Но я просто сижу и сочиняю слова на Д: дерево, дерматин, день, декабрист, декорация, дерзость, детство. Дед. Сворачиваюсь в своем углу и считаю до десяти.

Мы не виделись больше десяти лет, с тех пор как Таня сбежала на «попутном самолете» в Америку. Она прилетела на мой юбилей, и мы идем мимо нашей школы как ни в чем не бывало в поисках места, где можно отметить встречу. Встретиться с памятью.

– Все изменилось, да?

– Разве? – удивляется Таня.

Я вижу, что все изменилось. В Валсарбе я бываю редко, хоть и живу не в Америке. Каждая мелочь бросается в глаза. На Стадионной вырубili тополя. Старые польские домики Клоса улучшили сайдингом. Каждый частный двор окружает не живая природа, а листы металлопрофиля. Вот бы это запретили. Категорически.

На законодательном уровне.

– Не город-сад, а город-забор какой-то, – бормочу я.

– Знаешь, что в Америке о вас говорят? Что вы здесь днем и ночью ходите с ярким макияжем и на каблуках. Это странно для американцев.

«Говорят о вас». То есть себя Таня уже причисляет к «ним».

Я хочу спросить о судьбе книг из ее огромной библиотеки и не решаюсь. Войдя в квартиру, я застала абсолютно голые стены в комнате, которую мысленно называла библиотекой. Впрочем, это, пожалуй, единственная и не такая уж значительная перемена. Если учесть, что у меня больше нет квартиры в этом доме. Мама продала ее вместе с бывшими людьми, и остановиться я могу только у отца.

– Может быть, не пойдем в ресторан? Зайдем в какое-нибудь кафе, попросим какой-нибудь салат, – предлагает Таня.

Предлагает, словно действительно полагает, что здесь есть выбор. Что главное, как в былые, дойти до распутия с вечным камнем: налево пойдешь, направо пойдешь... А если не повезет, можно будет свернуть, и в обход.

Кафе есть на месте яслей, в которые я ходила в прошлой жизни, бывших немецким штабом во время войны. Принимая во внимание историю этого здания, я не хочу идти в это кафе.

– Думаю, лучше пойти в ресторан. Только, полагаю, с салатами тут неважно. Если ты не имеешь в виду оливье.

– Нет, я имею в виду фруктовый салат. Почему неважно, если сейчас лето. – Кажется, Таня говорит искренне, несмотря на едва уловимый акцент.

Так же искренне она пять минут назад не замечала перемен в городе.

– Я убеждена, что здесь нет овощного салата, не говоря уж. погоди, я сама не знаю, что такое фруктовый салат!

– У нас я прихожу в кафе, в любое кафе на любой улице, и заказываю себе фруктовый салат. Мне нравится с клубникой и киви. Я думаю, это есть везде.

Она выглядит серьезной, но мне все еще кажется, что она шутит.

– Таня, это Валсарб, а не Америка. Ты не была здесь... Одиннадцать? Двенадцать лет? Этого недостаточно для желаемых тобой перемен. Ты правда думаешь, что в конце июля в местном ресторане тебе подадут клубнику? Тебе не подадут ее и в сезон. Ни за какие деньги. Не здесь.

– Это же так просто – клубника летом, – недоумевает Таня.

Мне хочется покончить с этим разговором. Этот разговор мне жмет, как неподходящий башмак, а Тане он на вырост. Я вдруг понимаю, как сильно мне ее не хватало. Насколько мы были привязаны друг к другу. Какая пропасть теперь между нами. Между игрушечным городом Валсарбом и небоскребами Америки.

Мы доходим до ресторана и оказываемся напротив сквера. Я чувствую рывок в сердце. Какие-то канаты тянутся от него до постамента с захоронением. Должно быть, это вина.

– Знаешь, я давно хотела тебе сказать, здесь есть один человек...

– Где?

– Здесь, в сквере. Один известный человек. Но так вышло, что безымянный.

- В сквере?

- То есть не в сквере, а в братской могиле. Его обязательно нужно обессмертить.

- Что?!

- Ладно, забудь...

- Ты увлеклась историей? Войной? Ты же хотела написать книгу. Помнишь?

Я помню. К тому же у меня до сих пор есть такая потребность. Быть может, это мой долг, раз уж меня научили писать: спасти людей, которые оказались забыты. Написать историю, которая станет их убежищем. Вырвать из мрака небытия тех, без кого мое существование было бы невозможно. Помочь найти дорогу в мир теней. Выйти из пустыни самой.

Мы минуем и ресторан, и сквер, идем вперед, оживленно болтая о пустяках, проходим закрытый кинотеатр, несуществующий универмаг, шумное кафе, бывшее кождиспансером, где – пока мне, пятилетней, подбирали мазь от аллергии – я разговаривала с тенью пана Флемента («Детка, с кем ты там разговариваешь? – Я разговариваю с я»), адвоката, жившего в этом красивом доме-кождиспансере-кафе, которого расстреляли «свои».

Мы идем и идем вперед, но я знаю, что мы все равно вернемся. И она согласится на оливье.

Когда отец идет навстречу – с виду почти старик в свои пятьдесят, – но идет легко, пусть и слегка подтягивая ногу, его волосы – вот что не дает мне покоя, а больная нога ни при чем.

Я издали узнаю его своим минусовым зрением по шевелюре, на которой каждый день соль разъедает перец все сильнее, а потом уже по темному негроидному лицу и улыбке. Всякий раз поражаюсь переменам и испытываю острое желание провести по волосам, густым, как щетка, жестким, как иглы дикобраза, и никогда не решаюсь.

Он бросает быстрый взгляд и отводит глаза, так всегда при встрече, – мы оба боимся увидеть неизгладимые перемены на наших лицах, еще неизвестно, кто больше, – и, прихрамывая, суетливо направляется открывать дверь.

Дом, видоизменяющийся двадцать лет, возведенный из старого сруба, бывшего некогда частью хлебозавода и Бабиной жизни, чужой и привычный одновременно, так похож на отца, как собаки обычно ходят на хозяев, а отец – слишком похож на город, каким он был четыре столетия назад на гравюре Маковского. Я думаю о том, что папа – зажиточный польский помещик, а теперешнее яркое лето – часть декораций и к лицу ему, хорошо оттеняет зиму в его волосах.

Из чрезмерной экзальтации перед поездкой звонком на мобильный я сделала полонез Огинского, хотя нет никакого прощания с родиной, совсем наоборот, – полонез звучит из моей сумки, и я, не глядя, знаю, что это мама.

- Кто звонит тебе, а? – спрашивает отец с совсем юной улыбкой, я отвечаю, так, одна подружка, потом перезвонит, и соглашаюсь на чай.

Сломанная крышка электрического чайника пахнет жженой пластмассой, а его утроба неприятно бьет в нос накипью, чай, смешанный с этой водой, приглушает посторонние запахи, но надо бы давно подарить ему нормальный чайник, конечно.

Трижды я заверяю его, что не голодна и подожду до вечера, пока он закончит с делами. Он не предлагает, а констатирует, что вечером у нас будет праздничный ужин и хорошо бы мне похозяйничать – начистить картошки и поджарить мясо.

Есть не хочется, тем более праздновать, но еще меньше хочется чистить картошку, мыть ее в ледяной воде, варить на старой плитке с одной рабочей конфоркой, а потом нарезать парную резиновую свинину для шкварок. Однако в груди сжимается такой же маленький дикобраз, жесткий, как папина прическа, когда я представляю, с каким нетерпением он ждал меня и строил свои нехитрые планы.

В моей комнате на прикроватной тумбочке лежит сборник стихов. Лежит как-то чересчур нарочито.

– Почему у тебя нигде нет рифмы? – вдруг с досадой спрашивает отец.

Я теряюсь. Святая Фаустина выжидающе глядит из своего угла. Уж в чем в чем, но в увлечении верлибрами меня точно упрекнуть нельзя.

– Ты уверен, что читал *мои* стихи? – Сборник коллективный, впрочем, я прекрасно знаю ответ, он, разумеется, читал *мои* стихи; сердце резко дергается, подпрыгивает и начинает ныть, будто пульпитный зуб. Такое же неприятное чувство горечи, как после отцовского невежества, преследует меня всю жизнь: люди в моем представлении обычно умнее, выше, честнее и лучше, чем есть на самом деле, чем я сама. И вот именно сейчас, здесь происходит инициация, дефлорация, социальная перцепция, и мне нужно бы отразить удар. Но я лишь закрываюсь, будто щитом, словами: ты уверен, что читал *мои* стихи? – стою и чувствую, как улетучивается надежда на хладнокровное принятие. Абсолютно никаких шансов справиться с чувством болезненной неловкости.

Солнце вспыхивает, выпускает несколько пунцовых стрел и озаряет мушиный трупик на полу.

– Да, – говорит отец. – Только я ничего не понял.

Дом холодный даже летом, он подкладывает поленья в печь и сообщает, что ненадолго оставит меня, а потом вернется и заночует. Его жена будет злиться, ерничая по поводу нашей встречи, в этом году я уже приезжала, а она запредельно ревнует меня к нему. Я – неизбывная гнойная рана, по отношению к маме у нее случаются только рецидивы.

Шафрановые занавески кухни расплываются ярким пятном перед глазами, когда он заводит мотор и уезжает по своим делам. Жалость к нему и к себе никак не смешиваются, они являются одним целым, как мясо и сало, которые я нарезаю. Тупой нож вонзается в дрожащее желе, кромсая его на пластины куда большие, чем нужно. Я – плохая хозяйка. Это все знают. Папа не знает, и я делаю умное лицо, чтобы он лишний раз не переживал из-за таких пустяков.

Чайник включается и выключается самопроизвольно, никто так и не выпил чаю, картошка в закипевшей воде бурлит на плитке, полонез Огинского раздается из комнаты.

Все хорошо, нет, он вернется позже. Мясо буду жарить. Нормально доехала. Я скушаю по тебе. Созвонимся. Целую.

Мама в своей радостно-уютной квартире пьет невидимый чай и шелестит шоколадкой.

В его комнате занавешены окна. Но в доме на горе днем не бывает темно, даже с опущенными шторами. Рядом с трельяжем, ловко превращенным в трюмо, стоит картонная коробка. Я миллион раз видела ее в хатке. И отлично знаю, что будет, если открыть этот ящик Пандоры. Но все-таки не могу удержаться, открываю, воспользовавшись папиным отъездом, выпускаю наружу любимых мертвецов, вынимаю новогодние поздравления неживых друзей папиных родителей из незабвенных семидесятых, память икает, меня носит – я кружусь в ритме венского вальса и спотыкаюсь под марш Шопена.

Их мир все еще кажется достигаемым. Из бумажного вороха выглядывает усталый

Дед с любимыми лучиками прищуря и пугливо таращится бабушка, до фотовспышки не перестающая поправлять свои огромные начесы и шиньоны, укоризненно наблюдает старший папин брат, которого волею судеб отец уже превзошел по возрасту, и его сын Владик, которого я тоже, тоже обогнала, точно мы бежали взапуски до отметки тридцать, и он проиграл. В коробке есть мои детские карточки и фото моих двоюродных братьев и бабушкиных сестер, там есть и сам папа – еще безусый и совершенно брюнетистый юноша, одетый по моде того времени, которая возвращается и не знает, что отец давно помещик семнадцатого века и не интересуется модой. Но самое главное – здесь так много мамы... Она – настоящая, но бесконечно далекая – тоже обитает в этой усыпальнице. Он даже не прячет коробку. Приезжает сюда и перебирает ее улыбки.

Мама в доме на горе впадает в мертвое море источником живой воды.

– Можно я лягу в твоей комнате? Постели на диване, там в шкафу что-то должно остаться от Бабы.

Скрипит дверь, папа выходит на крыльцо, и с улицы тянется прохлада и дым его сигареты. За окном стоит та самая ночь цвета индиго, какая бывает только в глухих местах: не черная и не фиолетовая, но непроглядная. Каково ему тут одному, когда он бросает все дела и свою жену, весь цивилизованный мир, и добровольно остается ночевать от последних заморозков до первых уже несколько лет подряд? И не спросишь ведь. Он улыбнется или промолчит, а когда я уеду, будет прокручивать и анализировать этот мой вопрос, пить в одиночку и, чего хуже, плакать скупыми мужскими слезами человека, который не сумел прожить жизнь так, как распланировал симпатичный парнишка с красивым почерком и аттестатом почти отличника.

Я отправляю остатки мяса назад в сковороду и, кое-как сполоснув холодной водой наши тарелки, вхожу в комнату. Она называется моей потому, что в ней я ночую. На самом деле ничего моего здесь нет. Эту комнату делали последней. Здесь ютится вся та мебель, которая осталась от Бабы.

Старый полированный шкаф я не помню. Вероятно, это наследство папиной новой семьи. Но, открывая его, я внезапно переношусь в детство, когда, распахивая дверцу серванта, Баба с гордостью рекламировала отрезы сатина и кримплена, шерсти и тонкого шелка. Новые платки и покрывала, белоснежное и цветное постельное белье лежали ровными рядами, как на витрине. «После моей смерти все это достанется тебе», – говаривала она и гордо улыбалась. Я тоже улыбалась. Горы дефицитной ткани никогда не прельщали меня, и, разумеется, я не променяла бы на них свою живую бабушку. Я не торопилась уверить ее в этом. Тогда я не знала, что нужно торопиться. Тогда я еще не верила в смерть.

Мама относилась к этому со скепсисом, уверяя, что покрывала такой расцветки быстро выйдут из моды и уж точно не будут нужны мне потом. Теперь, в этом свершившемся «потом», такие шерстяные покрывала снова актуальны. И я бы с удовольствием владела одним из них. Только эта участь меня миновала. Мне не достались ни сатины, ни платки, ни потрепанные ридикюли, ни пресловутое покрывало. Наверное, их забрали Бабины сестры.

У меня не осталось ничего, кроме памяти, где Баба во веки веков пребывает в темно-коричневом платье с большими лилиями и кофте цвета тархуна на пуговицах.

Дом с крыльцом на Великой нашел других хозяев. Хатки, колонки, садика и Древа познания больше нет.

Есть только Прошлое. Позапрошлое. Позапозапрошлое.

– Нашла что-нибудь? – спрашивает отец, когда я уже лежу в кровати, прислушиваясь к шорохам: то ли мыши на чердаке, то ли обои отходят от старости

и шелестят.

– Да, нашла простынь.

Папа выключает свет, стягивает брюки и ложится на диван, стоящий поперек моей кровати. Нас разделяет только тумбочка, мы лежим почти голова к голове.

– Я так рад, когда ты приезжаешь... Знаешь, а я ведь молюсь за вас с мамой каждую ночь, – говорит он. Внезапность придает его словам вескости.

Я поворачиваюсь, чтобы что-нибудь увидеть, быть может, его лицо в этот момент, но тьма стоит хоть глаз выколи, густая, точно Нюкта разбила чернильницу.

– Каждую ночь молюсь... Вдруг Он меня слышит? Я даже подумываю снова походить в костел! Как прежде. А что, было бы здорово... За маму, – он воодушевляется, и я слышу, как скрипит диван при его попытке также взглянуть на меня, – за маму постоянно молюсь! Вот ты не поверишь...

– Почему же... – Неожиданно у меня кончаются слова. Пустота – а тот суП. А тот суп есть нельзя.

– Беспокоюсь за нее: как там она, не болеет ли, все ли у нее в порядке...

Он замолкает, и я невпопад думаю о том, что шорох создает комар-долгоножка, цепляясь крыльями за отстающие обои у подоконника, прямо над папиной головой.

– Ты прости меня... Я очень тебя люблю.

У меня щиплет в носу. Будь я младше, я непременно подошла бы к нему, споткнувшись и больно ударившись пальцами ног о тумбочку, рухнула рядом и крепко обняла. Но я лишь говорю:

– Все будет хорошо. Я тоже тебя люблю.

Комар-долгоножка прекращает свои дикие танцы, и становится тихо.

Слова заканчиваются и больше не находятся.

На северной окраине Валсарба есть кладбище.

Самое большое кладбище.

Самое маленькое кладбище.

Там нет могил. Там стоит памятник. Один на всех.

«Здесь похоронены 4500 человек из еврейского населения гор. Валсарба и окрестностей, зверски замученных немецкими извергами в 1942–1943 гг.».

Меня зовут Мейлах.

Меня зовут Лейзер.

Меня зовут Берка.

Меня зовут Исроэл.

Меня зовут Залман.

Меня зовут Хася.

Меня зовут Мекля.

Меня

зовут

Рекомендуем книги по теме



Рагим Джафаров



Ислам Ханипаев



Екатерина Манойло



Коллектив авторов

Сноски

1

Herrlich! Sehr Gut! – Прекрасно! Очень хорошо! (*искаженный нем.*) – Прим. авт.